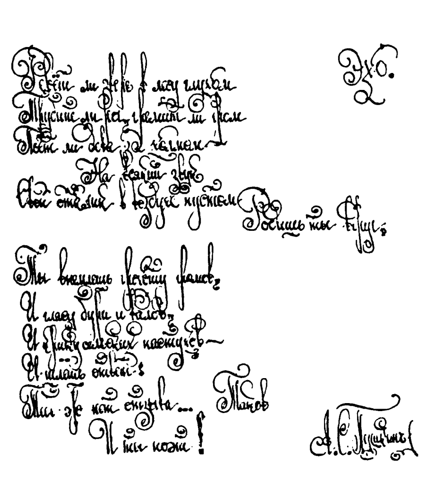
ЭХО 4 ECHO

ПАРИЖ 1980



ECHO

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

ТРЕТИЙ
ГОД
ИЗДАНИЯ

4(12)1980

PARIS

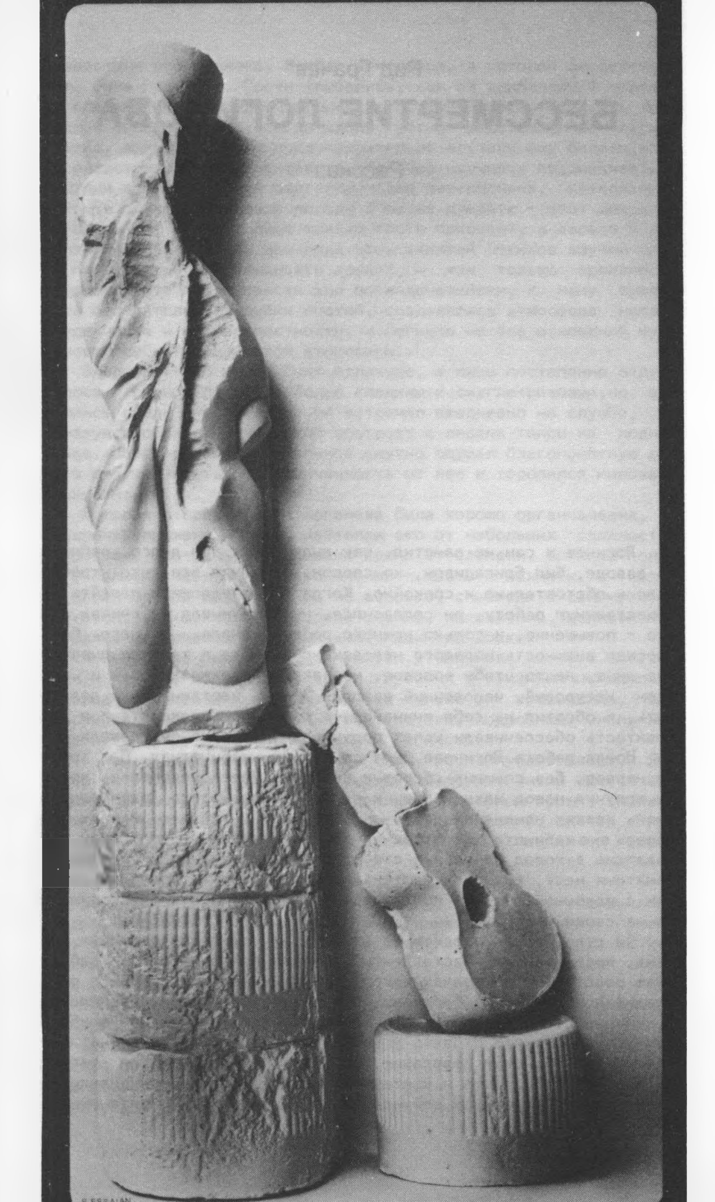
Журнал редактируют:
Владимир Марамзин
Алексей Хвостенко

Оформление:
А. Хвостенко

Directeur responsable:
N. Secinski

Вся переписка по адресу:
V. Maramzine
302, rue des Pyrénées
75020 Paris
France

Справа: Фрагмент афиши первого вечера журнала (Лангзо, Клиши, 30 марта 1981 года). Скульптура Сергея Есаяна "Эхо". →



Рид Грачев

БЕССМЕРТИЕ ЛОГИНОВА

Рассказ

Логинов и сам не заметил, как выдвинулся. Он долго работал на заводе, был бригадиром, комсоргом, исполняя все, что требовалось,обстоятельно и спокойно. Когда ему предложили перейти на общественную работу, он согласился, не раздумывая,не считал,что это - повышение, и только немного робел вначале. У него была броская внешность молодого человека с плаката - твердое выражение лица, не то чтобы волевое, но как бы вдохновенное, и при этом несуровый, человечный взгляд. Этими чертами он, должно быть, и обратил на себя внимание, а природное спокойствие и деловитость обеспечивали успех поручениям, которые ему давали.

Новая работа Логинова была спокойная, кабинетная, без трепки нервов, без спешных сборов и поездок. Через некоторое время он получил новое назначение, и оно не внесло в его размеренную жизнь резких изменений,разве что большую часть времени он проводил теперь вне кабинета. Он встречал теперь молодежные делегации,прибывающие в город из разных стран,сопровождал их при посещении памятных мест, говорил коротенькие речи и тосты, улыбался гостям с исконной русской приветливостью и открытостью,чувствуя себя на своем месте.

Он стал больше следить за внешностью, сшил два отличных костюма, поставил дома застекленный шкафчик для сувениров и заботливо расставлял на полках кукол, вазочки, фигурки зверей, раскладывал подушечки с брошками, значками и брелоками. Накопление сувениров стало понемногу его тайной страстью, и он в глубине души гордился, что страсть у него такая маленькая, милая и чистая. Встречая новую делегацию, он невольно останавливал взгляд на отворотах пиджаков и кофточках гостей, разглядывая значки и предвкушая, как сам он сейчас приколет им значки, спрятанные за

отворотами его пиджака. Вообще атмосфера, в которой он действовал, была приятной. Гости улыбались, сам он улыбался, к подъезду вовремя подкатывали новенькие автобусы, в холле гостиницы Логинова и его делегацию всегда ждали уютно расставленные легкие кресла, администраторы предупредительно вручали ему билеты, когда предстояло посещение театра. Логинов научился поддерживать с гостями непринужденный разговор через переводчика, ненавязчиво острить по поводу плохой погоды ("вы не думайте - этот дождь не вы привезли, к нам солнце только гости привозят, а своего у нас почти не бывает"). За два года этих занятий Логинов выучил слова приветствий на семнадцати языках, и как только произносил "здравствуйте" по-испански или по-индонезийски, к нему срывались ослепительные улыбки гостей, создавалась атмосфера непринужденности и жизнерадостности, и Логинов не без оснований чувствовал себя творцом этой атмосферы.

Здоровье у Логинова было отличное, а лицо постепенно округлялось и становилось все более гладким и смугло-розовым, не выделяясь среди лиц, которые он встречал ежедневно на службе, но образуя особенный, неброский контраст с лицами толпы на людной улице. Попадая в толпу, Логинов смутно ощущал благоприятную для него отчужденность, отграниченность от нее и торопился миновать людные места.

Бытовая сторона жизни Логинова была хорошо организована, ее обеспечивали жена и теща, избавляя его от небольших сложностей и проблем, все-таки возникавших время от времени. Логинов понемногу полюбил безобидные развлечения - карты и шахматы. В карты он играл как бы шутя, как бы не всерьез, снисходя к самому себе при этом, а в шахматы - сосредоточенно, напряженно, целиком погружаясь в варианты коварных комбинаций на доске.

Логинову не было знакомо чувство утомления, сон его был спокоен и глубок, но однажды, среди глубоких и туманных сновидений, бесследно исчезавших из памяти, как только он просыпался, ему приснился необычный сон - внятный, четкий, подробный. Он не растворился к утру и остался в памяти Логинова.

В просторной комнате, где он спал, распахнулась дверь, и Логинов встревоженно привстал, стыдясь того, что он не одет, и закутывая на всякий случай жену одеялом. В дверном проеме появилась стройная смуглая девушка с раскосыми глазами, одетая в яркие ткани. У нее было строгое и, пожалуй, даже надменное выражение лица, она победно улыбалась уголками губ, глядя прямо в глаза Логинову.

Логинов засуетился, спрыгнул на пол, но тут же успокоился, увидев, что он в костюме и даже в ботинках. Он не знал, появилось ли у него соответствующее выражение, так как никогда не контролировал себя, но судя по тому, что глаза девушки стали смотреть на него более снисходительно, оно появилось.

- Здравствуйте, - сказал он девушке на незнакомом ему языке, - рад приветствовать вас в нашем городе.

Девушка что-то ответила, улыбаясь по-прежнему чуть свысока, и Логинов почувствовал неудобство и робость, словно ему неожиданно пришлось принимать делегацию у себя дома. Он понял, что надо сохранить достойный уровень в глазах смуглой девушки, и хотя в глу-

бине души робел, улыбался ей точно с таким же выражением, как и она ему.

Затем девушка исчезла, и в дверь хлынули потоком пестро одетые смуглые и черные люди. Они неуверенно топтались в комнате, но быстро осваивались, здоровались с Логиновым на разных языках, и Логинов им отвечал, пожимая каждому руку с подчеркнутым достоинством. Постепенно все эти люди окружили Логинова,громко разговаривая между собой и смеясь. Они как бы не чувствовали себя делегацией, не чувствовали в Логинове официального представителя и своим смехом, свободными движениями, откровенными взглядами девушек приглашали его веселиться на равных правах с ними. Это вначале смутило Логинова, главным образом потому, что ни у кого из гостей не было на груди значков и никто не хотел получить от Логинова другие значки,а для него веселье легче всего могло начаться с этого. Его беспокоило также, что в комнате стоит неприбранная кровать, а на кровати лежит жена, но когда он скосил глаз в сторону кровати, то не увидел ее. Кровать исчезла кстати.

Логинов непривычно веселился в компании людей из жарких стран, чуть отводя глаза от влажных ртов девушек, и не потому, что они не нравились ему, а потому, что первая девушка оставила в нем слишком глубокую память о себе, он чувствовал себя как бы предназначенным ей. Лавируя между танцующими гостями,Логинов осторожно искал ее взглядом, но не находил, и не решался спрашивать, куда она исчезла. От этого он испытывал необычно сильную тоску, смешанную с весельем, и когда к нему подошли две-три девушки, обволакивая его праздничной интимностью,он решился спросить, кто была она, рассчитывая после этого ее отыскать.

- О, она... - ответили девушки с загадочным уважением, - она... - и не договорив, исчезли. Он будто бы сам покинул их,но почему он не дослушал ответ девушек относительно той, изжелта-смуглой девушки с раскосыми глазами, почему оставил гостей,этого он не понял. Он очутился на освещенном солнцем лугу подле белой деревенской печи, одиноко стоящей перед ним. Печь была не старинная, с плитой. Как только Логинов посмотрел на затененную трубой поверхность плиты, он увидел множество наручных часов, как будто кем-то брошенных в спешке. Тут были и мужские, и женские часы, разных марок, новые и поношенные. Логинов поднял одни часы с потрескавшимся стеклом и засаленным ремешком, поднес их к уху и услышал мелкое тихое тиканье. Этот звук родил в нем чувство беспомощной жалости к часам, к которому тут же присоединилось другое: он знал теперь, что все эти часы принадлежат ему, но не задумывался, почему они ему достались, каким путем и что все это может означать. Он только чувствовал эту жалость, чувствовал, что часы беззащитны, словно это были не приборы, а люди, и чувствовал, что все часы - его, и не знал, что ему с ними делать. Он будто бы получил то, чего вовсе не хотел, и теперь созерцал совершенно ненужные ему предметы, хранящие зримые следы принадлежности каким-то неведомым ему людям. Логинов проснулся с чувством недоумения и жалости.

Он не имел пагубной привычки анализировать свои ощущения, а тем более - сны, и отправился на службу как обычно. Встретил де-

легацию, отвез ее в гостиницу на встречу с другой делегацией, вернулся. Вечером пришли гости, немного пили и потанцевали,ушли поздно, Логинов лег спать, а ночью, как это иногда бывает, сон повторился.

Логинов не узнал сон во сне, но утром, перед тем как проснуться, подумал, что видит этот сон второй раз подряд. Он не стал задумываться над совпадением,забыл про него,тем более легко, что сон был вовсе не кошмарный. Однако сон повторился и в следующие несколько ночей, совершенно неизменно, словно Логинов смотрел один и тот же фильм с собственным участием. Не замечать этих повторений он уже не мог, но уделять им внимания не хотел, так что на службе он не помнил про сон и как всегда спокойно занимался своим делом. Вечером же он вспоминал о своем сне и в глубине души побаивался, что он опять повторится.

Сон действительно повторялся. Инстинктивное невнимание Логинова привело только к тому, что теперь он видел свой сон как бы конспективно, в тезисах. Он словно наскоро пробегал глазами собственные записи перед каким-то экзаменом, а утром забывал ночные впечатления, пользуясь тем, что никакого экзамена ему не нужно сдавать.

Тот же инстинкт заставлял Логинова никому не рассказывать про сон, и он втайне радовался, что удержался от искушения рассказать его жене. Он стал с некоторых пор значительно активнее проявлять себя на службе, вникал в мелкие административные вопросы,которыми прежде не интересовался, он более заботился теперь о качестве шуток и о стиле приветственных речей. Не желая интеллектуально отставать от жизни, он спросил жену,каких современных писателей ему стоит почитать, жена посоветовала Казакова и Аксенова, и он их прочел. Затем ему захотелось помочь жене по хозяйству, и с тех пор, возвращаясь со службы, он делал необходимые закупки по списку, который давала ему жена. При этом он не позволял себе догадываться, что ищет новых забот из-за своего сна, как бы прячется, уходит от него.

А сон все повторялся. Временами Логинов совершенно о нем забывал, временами совсем некстати в памяти всплывали подробности сна: однажды он вспомнил, что все часы показывали разное время, в другой раз - что первая девушка исчезла в стене и сам он как будто прошел сквозь стену, когда оказался на лугу,залитом солнцем. Иногда дневные впечатления вдруг вызывали в памяти сон: то стройная девушка-азиатка, то пожелтевшее стекло часов на руке прохожего. Но все эти впечатления не были навязчивыми, потому что чувства, которые Логинов испытывал днем, не имели ничего общего с переживаниями во сне. Несколько раз ему приходила на ум мысль почитать научные объяснения снов, но он инстинктивно опасался, что такое чтение сосредоточит его внимание на сне, заставит его держать сон в сознании.

Как это обычно бывает,когда мы сопротивляемся какому-нибудь впечатлению, воспоминания о сне все чаще возникали в сознании Логинова. Нужно было что-то предпринимать, и совершенно самостоятельно.

- Ну, ладно, - думал в таких случаях Логинов, - ну, хорошо, пусть он продолжает мне сниться, главное - не надо думать,будто

у меня что-то испортилось в голове. Что-нибудь случится, повернется, и все пройдет. Могу же я на самом деле не обращать на это внимания. Я же не помню все домá, столбы, лица, которые вижу каждый день на улице. Они сами по себе, а я сам по себе, пусть так и будет.

Логинов не знал, что его сон совсем иной природы, чем простые зрительные впечатления. Он не хотел думать, уклонялся от мысли о том, что сон не лишен некоторой, пусть даже нелепой, логики, и что сила внушения, испытанная им, появилась не зря, не просто так. Он еще не наблюдал за своим поведением, но стал задерживаться на службе под разными предлогами, искал себе дела, старался утомить себя, забыться, но чем более он был утомлен и чем крепче спал, тем отчетливее снился ему сон, и он боялся удивиться несоответствию между средствами и целью. Его обнадеживало, что ночные переживания все-таки не выдерживали силы и разнообразия впечатлений дня, не переходили в дневное сознание, и беспокоило только регулярное повторение - "дежурство", как он думал, - сна.

Среди сослуживцев Логинова был человек, с которым он обменивался при встречах знаками легкой приязни, хотя и не сходился с ним ближе. Человек этот, по фамилии Арцеулов, был по характеру гуляка, а поэтому пребывал чаще всего в расположении поболтать и пошутить с кем придется, чтобы скоротать рабочее время. Логинов встретил Арцеулова в коридоре и нечаянно проговорился между прочим, что видит несколько ночей подряд один и тот же сон.

- Нервочки пошаливают? - с участием предположил Арцеулов. - Ты, старик, работай, да не зарабатывайся.

- Да нет, в порядке нервы, - ответил Логинов.

- Еще бы, у тебя, да не в порядке, - смеясь, сказал Арцеулов. - Вон какую морду наел!

- Да и ты не дистрофик, - хмуро отшутился Логинов.

- А что же делать, а? - озабоченно спросил Арцеулов. - Может, все-таки к доктору?

- К какому?

- Ну, к этому, к психопатору!

- Боюсь я их, - сказал Логинов, - еще что-нибудь отыщут... К ним только приди.

- А ты к нашему, - предложил Арцеулов. - Наш - умный, в курсе всех руководящих заскоков. Даст тебе электросон, и будь здоров!

- Нет у меня заскоков, - устало сказал Логинов, жалея, что проболтался.

- А раз нет, едем за город! Развеемся. Бабец для тебя найдется - во! - И Арцеулов показал коротенький палец.

- Да я не любитель... - кисло ответил Логинов.

- Сделаем из тебя любителя! - с нарочитой серьезностью пообещал Арцеулов. - Сколько на твоих? - Порядок! В девятнадцать ноль-ноль по твоим. - Он щелкнул каблуками и удалился вихляющей походкой.

Разговор с Арцеуловым навел Логинова на мысль, что правильнее всего относиться к своему сну насмешливо, принимать его как чью-то затянувшуюся шутку вроде звонков по телефону, когда тебя спрашивают: "Это зоопарк?", а ты отвечаешь: "Нет, похоронное бю-

ро". Такие шутки были в ходу у молодых сотрудников. Он, кроме того, решил поехать с Арцеуловым.

Позвонив домой, он сказал, что задержится на службе,что,может быть, заночует у сослуживца, а в семь часов на пороге кабинета появился Арцеулов, деловито постучал по запястью и молча кивнул в сторону коридора.

У решетки сада стояла черная "Волга". За рулем сидел капитан-лейтенант, поглядывая в сторону Арцеулова и Логинова и вертя ручку настройки приемника. На заднем сиденье, поджав ноги,полулежала девушка в гладком платье. Она подвинулась, освобождая место Логинову, Арцеулов сел на переднее сиденье, назвал Логинова, капитан-лейтенант пробормотал свою фамилию, включил скорость, девушка, не глядя на Логинова, внятно произнесла: "Лена" и опустила голову на грудь.

По дороге слушали музыку, смешанную с треском разрядов, Логинов поглядывал на девушку, соображая, чья она - моряка или Арцеулова. Девушка, вероятно, догадывалась о мыслях Логинова и, умело играя лицом, запутывала его в предположениях. Когда Логинову наскучила игра, он откинулся на спинку и придал лицу непроницаемое напряженное выражение, так хорошо защищающее людей определенного типа от вторжения внешней суеты.

Моряк остановил машину перед каменной дачей, открыл своим ключом ворота и подвез гостей к веранде. Выглянули две девушки в передниках, кивнули, исчезли в доме. Логинов отметил про себя, что дача обжитая, богатая. Он сам подумывал о том,чтобы построить себе такую, но знал, что нахрапом этого не сделаешь,такие дачи обживают и совершенствуют два-три поколения. Оглядывая неприбранный, лохматый сад и почерневшие дорожки, он подумал, что недавно эту дачу перестали обживать и теперь кто-то,не чувствующий себя хозяином, выжимает из нее созданное прежде благополучие.

Выскочив из машины, Арцеулов принялся шутить, подталкивая Логинова к веранде и ловя свободной рукой локоть девушки, приехавшей с ними, Логинов поддавался Арцеулову, доверяясь его интуиции гуляки, всегда направленной к тому, чтобы установить между малознакомыми людьми ни к чему не обязывающую непринужденность отношений. Логинов знал, что сам-то он держится благодаря равновесию и удачной внешности, и,никогда не признаваясь в этом, глубоко уважал дар общительности Арцеулова,легко заменяющий усилия, какие самому ему пришлось бы прилагать.

На веранду вышли девушки из дома, Арцеулов подтолкнул к ним Логинова и сказал, смеясь:

- Вот, смотрите, сановника привез. Видали когда-нибудь такую морду? А ведь все от смущения. Вы думаете, он важный? - Нет, он застенчивый...

- Это у вас какой значок? - спросила девушка с осветленными волосами, коснувшись узким ногтем пиджака Логинова.

- Это - "Юнеско", - ответил Логинов.

- А-а, - сказала девушка и ушла вместе со второй на кухню.

Арцеулов скользнул следом, вернулся, заманчиво улыбаясь Логинову, наступая на него, оттеснил к низкому креслу, сел на соседнее, участливо спросил:

- Голодный, поди, как слон? Потерпи, сейчас навалимся. Там сготовили такой цимус!

Вернулся моряк, открыл холодильник, поставил на столик две бутылки коньяку. Молчаливая Лена принесла с кухни стаканы и сифон. Понемногу на веранде собрались все. Девушки расставили закуску на двух маленьких столиках, отошли, сели на низкую тахту в свободных позах, держа в пальцах рюмки с коньяком. Арцеулов притих. Моряк рассеянно играл маленьким перламутровым ножиком, Логинов подождал,пока другие начали закусывать, придвинул к себе теплую курицу, отломил ножку и принялся жевать, непроницаемо поглядывая по сторонам. Он уже освоился здесь, только немного жалел о том, что все происходит обыкновенно спокойно и никакой встряски, обещанной Арцеуловым, не может быть.

После нескольких рюмок Логинов ощутил, что установилась атмосфера ровной взаимной приязни. Арцеулов рассказал новые московские слухи, моряк, оказавшийся заводским инженером, понизив голос, сообщил какие-то сведения, о которых не пишут в газетах, и Логинов тотчас привычно забыл их, хотя слушал внимательно. Девушка, к которой прежде подвел его Арцеулов, подошла сзади,оперлась на спинку кресла и принялась расспрашивать об иностранцах. Включили магнитофон, танцевали при свете зеленого глазка, пили кофе и снова коньяк. Арцеулов рассказывал анекдоты.

Логинов отяжелел, его клонило ко сну. Он чувствовал,что его лицо помимо воли становится непроницаемым, а взгляд - давящим. Он стеснялся своего состояния, но поделать с собой ничего не мог. Чтобы хоть немного освободиться от сонливости, он стал наблюдать, тяжело взмахивая веками, как девушка, пересев в соседнее кресло, старается привлечь его внимание и понравиться ему.

Девушка покачивала ногами, разводила плечи, касалась ногтями волос, чуть заметно подрагивала телом, обратив к Логинову профиль и немного развернув бедра. Потом подняла руки, как бы потягиваясь, закинула голову и неожиданно уронила руки вперед, обдав Логинова теплым воздухом. Он увидел в вырезе кофточки чуть белеющую грудь и одновременно вдохнул едва уловимый аромат духов. Преодолевая лень, он вспомнил прикосновение тела девушки во время танца и пожалел, что темно.

Моряк зажег витые свечи в самодельном подсвечнике из цветной пластмассы и медной проволоки. Логинов смотрел на полузакрытые глаза девушки, на приоткрытые, в меру полные губы,чуть поблескивающие теперь, и медленно думал о том, что он,конечно,поступает нечестно, не принимая участия в игре, что девушке скоро станет трудно, она утомится прежде времени и проснется утром в беспричинно плохом настроении. Логинову не хотелось ее мучить, однако он продолжал безучастно наблюдать ее движения с жестокостью ленивого человека, недавно пережившего некоторое подобие ада. Он и сам не знал, что поступает именно так, но почувствовал это, когда Арцеулов, блеснув глазами в его сторону, громко сказал:

- Эй, Логинов, ты не спишь ли?

- Нет, - отозвался Логинов. - Я... мы просто отдыхаем.

- Ты смотри, не спи, - продолжал Арцеулов, - а то увидишь свой кошмар, начнешь кричать, напугаешь девушек.

- Какой кошмар? - спросил моряк.

- Пусть он сам расскажет, - сказал Арцеулов. - Ему несколько ночей снится один и тот же сон.

- Какой сон? - с интересом спросил моряк. - "Все тот же сон?"

- Не стоит рассказывать, - ответил Логинов, - ничего интересного, а мне он надоел.

- И что же, - спросил моряк, - каждую ночь, без вариантов? Он, наверное, связан с одинаковыми впечатлениями вашей жизни?

- Немного - да, - сказал Логинов, - но это не переутомление.

- Вам, наверное, снится сон со значением, - сказал моряк.

Логинов пожал плечами.

- Простите, вы какого происхождения? - снова спросил моряк.

- Как говорится, рабоче-крестьянского, - отозвался Логинов с небольшим нажимом, надеясь, что моряк перестанет спрашивать.

- Если бы вы рассказали ваш сон, - задумчиво сказал моряк, - я попытался бы вам его истолковать... У меня есть на службе товарищ, он кое-что мне объяснил на эту тему.

- Да нет, что вы... - веско ответил Логинов, скрывая за тоном ответа страх и досаду. - Я не придаю этому значения, а психологией не интересуюсь. Это Арцеулов заводит... - и, не желая обижать Арцеулова, он закруглил фразу: - ...заводит нас в психологический тупик.

Арцеулов расхохотался.

- Есть предложение продолжать с начала! - крикнул он. - Кто "за", поднимите руки.

Арцеулов первым поднял руку, со скрытым удовольствием предвкушая перемены. Моряк нагнулся над холодильником, извлек из него одну за другой три плоские бутылки с желтоватой жидкостью, Арцеулов включил на полную мощность магнитофон, девушки убрали со стола тарелки и принесли свежую закуску.

Напиток оказался очень крепким, две рюмки взбодрили Логинова до дневного состояния и выбили из головы пробудившуюся ранее цепкую тревогу. Танцевали, меняясь партнершами, пели "в огороде бабку", валяли дурака. Логинов, без пиджака, с засученными рукавами, отплясывал, мыча, что-то умопомрачительное. Арцеулов хохотал, притоптывал в такт, отбивая слабую долю выкриками:

- Не спать! - Не спать! - Не спать!

- Не усну! - кричал Логинов, выделывая коленца. - Давай спорить - не усну!

- На что? - спросил вдруг Арцеулов.

- На полста! - крикнул Логинов, кружась вокруг собственной руки, согнутой колечком.

- Разнимай, капитан, - крикнул Арцеулов.

Логинов приплясал к Арцеулову, протянул к нему руку, не сохранил равновесия и упал на него, обнимая за шею. Моряк откликнулся с тахты:

- Разнимаю!

- Девушки, вы свидетели! - крикнул Арцеулов.

Девушки лежали в креслах, уронив головы. Услышав Арцеулова, они вздрогнули, закивали головами и устроились в креслах поудобнее. Логинов отпустил Арцеулова, тяжело поднялся, подошел к столу, выпил еще рюмку и устроился в кресле рядом с девушкой.

Кто-то выключил магнитофон. В стеклах веранды кружился, мутнея, предутренний свет.

- Я не усну, - медленно выговаривая слова, - сказал Логинов. - Только вы не давайте мне спать. - И он погладил растопыренными пальцами плечо девушки.

- Я не дам тебе спать, - приложив губы к уху Логинова, сказала девушка.

Логинов изогнул шею и поцеловал девушку в губы.

- Жизнь есть сон... - проговорил моряк, ворочаясь на тахте.

- Не философствуй, капитан, - отозвался Арцеулов, - скука...

- Но сон не есть жизнь... - не обращая на него внимания, продолжал моряк. - Сон есть переходное состояние между жизнью и смертью... Раньше не говорили: "умер", говорили: "уснул", "успокоился". Вас не смущает, Логинов, эта тема?

- Ладно, тема как тема... - ответил Логинов, - я плохо понимаю.

- ...А смерти нет, - сказал моряк. - Мы ничего не знаем о смерти... Никто еще не умер.

- Скажи лучше - никто не жил! - крикнул Арцеулов.

- Этого мы не знаем, - спокойно возразил моряк. - Мы даже не знаем, когда мы спим и когда живем... Не хотим знать. Нам это невыгодно, правда, Арцеулов?

- Мне выгодно спать с Лерой, - смеясь, сказал Арцеулов. Девушка шикнула на него.

- ...Все, что люди почувствовали, поняли, все, что они сделали, остается, - продолжал моряк. - Остается все, что они пережили... Поэтому... слышишь, Арцеулов? людей не надо убивать и, в особенности, мучить. От этого живущим остаются неприятные переживания...

- Да, да, нужно быть гуманным... - дурачась, сказал Арцеулов.

- Да, нужно быть гуманным, - подтвердил моряк.

- Мир и дружба, - поддразнивая, сказал Арцеулов.

- Да, мир и дружба, - серьезно сказал моряк. - Мы работаем на мир и дружбу...

Эти слова просочились в затуманенное сознание Логинова, и он стал напевать про себя: "мир и дружба", "мир и дружба", "мрмрмыридр".

- Поговори еще, Кира...

- Ну, вот... - сказал моряк, помолчав. - Есть ли смысл у жизни? Мой начальник, генерал, говорит: есть. В том, чтобы носить брюки, пить, есть... ну и вообще. Победа здравого смысла над превосходящими силами противника... А превосходящие силы - все, что было, и все, что будет. Генерал побеждает потому, что не желает ничего знать... Ну, ладно... Мы замучили много людей, и все их мучение осталось. Ничего интересного: боль, глупость, страх, подлость, горе... Надо быть бревном в сапогах, чтобы этого не ощущать. А внимание обращать на это бессмысленно. Бесполезно. Был бы я не такой разумный, приснился бы мне сон со значением. Сон ведь - в картинках, как кино... Знал бы я тогда, что мне делать, как мне жить, в чем моя беда... Картинки бы все показали... Вот что такое не везет. Предки мои неверующие, красная про-

фессура, сам я ни во что не верю. Душа не простая... Везет же некоторым дуракам!

- Слышишь, Логинов? - спросил Арцеулов.

- Что? - вздрогнув от оклика, сказал Логинов. - В чем дело? Я хочу спать...

- Эх, Кирилл, - с насмешливым укором сказал Арцеулов, - чуть-чуть не заработал мне полста...

- Полста? - переспросил Логинов. - Это ты заплатишь мне утром...

- Ты, Зина, щипай его, чтобы я проспорил! - крикнул Арцеулов. - Иначе уснет!

- Не усну... - пробомотал Логинов. - Только... вы меня не будите...

Арцеулов рассмеялся.

Логинов не спал и даже не дремал, опьянение подействовало на него неожиданно удачно: оно подпирало его изнутри, сохраняло некоторую бодрость и помогало отталкивать впечатления, которые могли быть сейчас ему неприятны. Девушка, прижимаясь к нему чутким боком, вздрагивала всякий раз, когда его тело начинало оседать.

- Везет же дуракам, - ни к кому не обращаясь, повторил моряк. - Но дурак и есть дурак, ничего-то он не понимает... Уверен, что нашему генералу снятся сны со значением, а он как-то умудряется их не смотреть. Наверное, закрывает во сне глаза... Жизнь - сон, а сон - без смысла... И боязно жить, непонятно,куда... Может быть, и это сон со значением, только мы не умеем читать? А если б умели! Ух, какие мы некультурные люди! Смерти боимся, а ведь мы бессмертны, только находимся в переходном состоянии и держимся за него, как пьяный за стенку! Поддерживаем его... Засоряем жизненное пространство. Это же - проникающая радиация, вот что это! Надо читать сон со значением и отнимать пространство у страха, пыток, боли... Надо читать, читать!..

"Хорошо тебе, философ..." - с трезвой злостью вдруг подумал Логинов, отпихивая от себя мучительную память. Девушка отпрянула от него и, когда он успокоился, снова прижалась,скользя нервными пальцами по его плотной руке.

Арцеулов встал, подал своей девушке руку и, нечетко храня равновесие, повел ее внутрь дома.

- Идите в гостиную, - сказал моряк.

- А вы где? - шепотом спросил Арцеулов.

- Тут останется он, - моряк кивнул на Логинова.

- Правильно, - сказал Арцеулов, - тут посвежее. Пусть воздухом подышит. Порядок... Эй, сановник! Смотри не спи! - он погрозил Логинову пальцем и вышел, обнимая девушку сзади за плечи.

Логинов поднялся с кресла, ощущая, что ноги держат его плохо. Моряк еще не освободил тахту, он наклонился над девушкой,наверное, давал ей пить. Наконец она встала, оправляя платье,и вышла. Логинов подумал, что вообще-то нехорошо стоять и ждать,пока хозяин освободит территорию, поэтому он плюхнулся в кресло, чуть не толкнув девушку. Моряк повернул голову на шум, улыбнулся Логинову и сказал:

- Вам осталось потерпеть часа два-три, и полсотни ваши.

- Постараюсь, - ответил Логинов, с трудом раздвигая губы, чтобы улыбнуться в ответ.

Моряк посмотрел на свет бутылку, взболтнул жидкость, поставил бутылку на столик, показав Логинову, что она не пустая. Логинов кивнул. Он проводил взглядом моряка и остался сидеть в кресле.

Девушка, потирая виски, прошлась по веранде, остановилась против света, чуть отставив ногу и выдвинув грудь. Логинов вспомнил, что видел такую позу в каком-то журнале. Он наблюдал девушку помимо воли, опасаясь только того, что она может обидеться. Однако девушка как-будто не чувствовала взгляд Логинова. Она поправляла прическу, плавно поднимая и опуская руки,повернулась к Логинову спиной, нагнулась, разогнула тело, поворачиваясь в профиль, легко прошла, покачивая бедрами, между креслами, резко опустилась на тахту, сильно обнажив ноги, наклонила голову,будто задумавшись, тряхнула волосами и, глядя полузакрытыми глазами на Логинова, стала расстегивать непослушную пуговицу.

Движение пальцев девушки задело Логинова. Он привстал и тяжело, по-медвежьи двинулся к тахте, видя в глазах девушки манящий испуг.

Через час совсем рассвело. Девушка тихо дышала, обнаженное матовое плечо заслоняло от Логинова свет. Он думал,что она спит, и водил взглядом по линии ее шеи, упираясь в темные у основания пряди волос на затылке. Вместе с отрезвлением он чувствовал усталость и, чтобы развлечься, искал следы усталости на лице девушки. Две рюмки, выпитые подряд, не взбодрили Логинова, наоборот, почти совсем погрузили в забытье. Но как только его рука отяжелела, девушка вздрогнула, быстро повернулась к нему лицом, оперлась на локоть и ласково сказала:

- Слышишь, не спи!

- Я не сплю, - пробормотал Логинов.

- Не спи, пожалуйста, - повторила девушка.

- Не беспокойся, я не усну, - внятно сказал Логинов. И добавил, чтобы убедить ее в своей бодрости:

- У тебя вон там, за ухом, маленькая родинка...

- Да... - сказала девушка. - И еще одна под волосами,на виске.

- Эту я не вижу, - сказал Логинов. - Будь спокойна, я не усну.

- А ты не обманешь? - спросила девушка.

- Ты, наверное, сама хочешь спать? - сказал Логинов, глядя расширенными глазами в голубоватый потолок. - Посмотри, как у меня открыты глаза... Они не закрываются.

- Я испугаюсь, если ты уснешь, - чуть слышно прошелестело у него в ушах.

- Она просто боится... - подумал Логинов, находя объяснение ее поступкам во всю эту ночь. Он протянул руку, нащупал плечо девушки и принялся легонько его поглаживать. Плечо дрожало некоторое время, затем успокоилось, и Логинов с удовлетворением подумал, что девушка наконец уснула. Теперь никто ему не мешал.

Скрипнула дверь веранды. Логинов привстал, не зная, спал он или нет,и надеясь, что если даже он спал, этого не заметили. На пороге встала девушка, о которой он сначала подумал: "Лена". Но это была другая девушка, незнакомая. Стыдясь наготы, Логинов потянул на себя простыню, потом быстренько завернул жену одеялом и опустил ноги на пол. Желтолицая девушка с раскосыми глазами смотрела властно и надменно, как бы не зная, казнить ей Логинова или миловать. Логинов успокоился, увидев на себе костюм. Он шагнул вперед, отводя согнутую для приветствия правую руку и открыто улыбаясь с тайной робостью, с коротеньким страхом, что девушка не подаст ему руки. Однако он был представитель, и что бы девушка ни думала, она ответила на его приветствие крепким и гордым рукопожатием. За нею хлынула в комнату пестрая веселая толпа.

Логинов оглянулся с тоской о непорядке, увидел с облегчением, что кровати нет, и принялся пожимать гостям руки, погружаясь в тревожную атмосферу чужого праздника, на который пригласили и его.

Потом он беспокоился, что первая девушка куда-то исчезла, - боялся спросить и беспокоился, жалея, что приниженная радость, с которой он ее встретил, заволакивается грустью. Вторая часть сна ослепила его белизной печи, блеском солнца и яркой зеленью травы, а часы, разбросанные на поверхности плиты, сжали сердце непонятной горечью и болью о чем-то, что было бессмысленно погублено. Разглядывая и беря в руки маленькие механизмы, он испытывал прикосновение тихой и беззащитной ласковости, щемящей сердце, он пытался погрузиться в это чувство, выделяя его среди других и зная, что просыпаться не нужно. Но чувство не давалось, ускользало, чтобы снова едва согреть его тихой беспомощной радостью и отлететь. Затем Логинов увидел как бы весь сон сразу. Он охватывал все события сна от первого до последнего каким-то непостижимым способом, точнее, они охватывали его, сливаясь в одно ощущение, слишком сложное для того, чтобы Логинов мог установить последовательность картин во времени. Это состояние тем не менее успокоило его.

- Не спи! Не спи! Не спи! - шепотом кричала девушка, стуча кулаком по волосатому плечу Логинова. - Не спи же! Ты проспоришь! Не спи!

Она попыталась приподнять пальцами его веки, отдернула руки, сжалась в комочек на краю тахты, жалобно кивая головой и судорожно глотая воздух, закрыла ладонями глаза и закричала.

В доме хлопнули двери. На пороге появились моряк в трусах и Арцеулов в цветастом халате.

- У-у-умер! - выкрикнула девушка, захлебываясь слезами. - У-у-мер! Умер! А-а...

Моряк, размашисто ступая, подошел к тахте и склонился над Логиновым. Арцеулов, следя за его движениями, вздохнул и сказал невпопад, встревоженно качая головой:

- Над пропастью во лжи...

- Что теперь делать? - спросил моряк.

- Лучше отвезти его в город, - сказал Арцеулов. - Будет спокойнее.

- Да, но ведь спросят, где это случилось? - возразил моряк.

Арцеулов посмотрел на часы.

- Раз так, давайте выспимся как следует, - предложил он, удерживая челюстями зевок. - Надо отдохнуть перед хлопотами...

- А его? - спросил моряк.

- А что с ним теперь сделается? - сказал Арцеулов. - Успокоился... Не так ли, капитан?

- Ну, хорошо... - сказал моряк. - А вы...

Девушка всхлипнула сквозь ладони и не ответила.

Арцеулов дотронулся до ее плеча.

- Умер! Умер! Умер! - крикнула девушка,содрогаясь. - А-а... О... Умер!

- Дай ей воды! - сказал моряк.

Девушка отказалась от воды, утихла, отвернулась от мужчин, всхлипывая, протянула к Логинову руку и стала водить ею по его телу, чуть касаясь кожи ногтями.

Мужчины потоптались на пороге и вышли на цыпочках, тихонько прикрыв дверь.

1964

Алексей Хвостенко

ГОБЕЛЕН

С. Есаяну

Мы тронулись рассказа следом,
Где в бочку солнца деготь меда
Запечатлен. Где повесть о былом
Лежит роскошным пирогом
И просится быть съеденной.
Дитя романа в ручке золотой
Краюху торта держит. Слуги
Медного дворца льют каменную воду
Драгоценных слов в кувшины вымысла.
На псарне
Охоты музыка изваяна трубой,
И зайчьим полем
Несется мысль, прикованная басней
К траве воспоминаний. Тополь
Из стороны восточной смотрится букашкой
С алмазным крылышком. Букашка
На вышитом букете нижет бисер
Буковок, и шепот дифирамба
Готов сорваться с губ пятнистой твари,
Что по слогам читает тело госпожи.
Сквозь платье видна долина, озеро,
Заросшее съедобным серебром растений,
И облако с крылом дракона. Ниже
Из пасти льется ядовитый сок,
Но чашу для нектара держит мальчик,
И сонная отрава
Вином любви коснется приоткрытых губ.

Ум спотыкается. Воображенье
Готово следовать игле ткачихи,
Дракон все выше стелется над пашней
И жаворонком тонкой мысли
Высвистывает утра пламенный колпак.
Над бездной
Нас ангел задержал движением руки,
И крохотные сосны у ног его
В звенящем зное пепельного лета
Растворились. Дивный воздух
Сквозь золотую нить мерцает садом
Плодов возвышенных, на каждом лепестке
Небесная жемчужина круглится
И плавится на алтаре цветка.

Спустясь в долину,
Мы не заметили, как солнце опустилось
На крышу замка. Голубые тени
Расположились между строк поэмы,
Что звонким голосом наперсницы прелестной
Читает неспеша. Нарядный мавр
Косит на нас белком, облокотившись
На изукрашенный роскошными камнями
Эфес турецкой сабли. Непонятно,
Следил ли он за изложеньем или,
Какой-то тайной мыслию уловлен,
Прислушивался к сладостному пенью
Читающей. Мы заглянули в книгу.
Тонкой кистью
Художника пылающего века
Здесь был изображен пейзаж знакомый,
Только ангел
Уже не попирал ногами сосны
И не стерег пространство за скалою,
А прелестным жестом им овладел.
Он медленно парил над нами
С трубой еще молчащей, но казалось,
Что медный звук рассыпался над небом
На хор волшебных голосов. Им зачарован,
Великолепный зверь арктической окраски
Лишь ждет прикосновенья губ к металлу,
Чтобы витым изображеньем рога
Нам приказать: "Туда направьте
Ток скудной мысли, где волненье
Невидимого воздуха весомо,
Где легкость камня и эфира тяжесть,
Преображаясь в неподвижность бега,
Меня соткали из припева песни,
В котором между слов довольно воску,
Чтобы придать устойчивость постройке,
Сложившейся из шелеста и гула..."

Но шелест перевернутой страницы
Его прервал. Велеречивых
Не стало слышно слов, и только эхо
Еще догнать пыталось образ фразы,
Звучащей дробными силлабами, но слоги,
Уже не слепленные воском рассужденья,
Пульсировали медленней, срываясь
На гул прерывистый, где только У стенало
В пергаментную клетку переплета.

У-у-у, - подхватили мы, и тут же ангел
Надул серебряные щеки. С треском
Захлопнулось окно на башне. Завертелся
На тонкой спице флюгер. Ветер с моря
Качнулся плотной массой, напрягаясь
Стереть рисунок сада. Даже замок
Не устоит, казалось, под напором
Нахлынувшей стихии. В толще камня
Завыла пустота в огромный бубен
Истории. Открытые могилы
Лакали жадно ливень. Тьма и ужас
Обрушились на нас. Зловещим блеском
Светилось небо. Звезды, обезумев,
Стремительно неслись за горизонт...
И мы бежали.

- Стойте! -
Послышалось за нами. - Погодите!
Там нету выхода! Ступени оборвутся,
Упершись в стену. Ложная идея
Приблизить замкнутую меру помещенья
К пределам мира показалась
Архитектору забавной. Таково барокко.
Не осуждайте творца и исполнителя каприза
Предвзятой мысли. Выход нужно
Не видеть, а угадывать. Ступайте
За мной! - Почтенный сторож,
Прихрамывая,нас повел по залам,
И что-то проворчал еще, захлопнув
За нами дверь.

На Сен-Жерменском
Бульваре мы сели за столом
Ближайшего кафе, откуда начат
Был наш рассказ. Спросили кофе.
Кальвадос нам принесли в стеклянных
Вазочках с наперсток. Щебетанье
Купавшихся в пыли проворных птичек
Все возвращало нас к началу темы,
К дымящемуся кофе и кувшину
С цветами веселых маргариток.

А сквозь город темнеющего неба
К нам приближался зверь арктической окраски,
Ступая на ногах полета цапли,
Чтобы напитка душу из стекла
Отправить в ночь.

20.03.81

Лондон

Александр Мигунов

БЕЛОГЛАЗАЯ ПРОДАВЩИЦА

Два рассказа

Слезы очищают легкие, умывают лицо, развивают зрение и смягчают нервы, - сказал мистер Бамби. - Так плачь же хорошенько.

Чарлз Диккенс. Оливер Твист

Будь она еще хромая иль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил.

Ф.М.Достоевский. Преступление и наказание

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЧУЛОК

1

Зинка закончила кухарить и накрывать праздничный стол и прошла к платяному шкафу.

Он был не бог весть как переполнен, точнее сказать, был полупустой. Пара легких цветастых платьев, пара халатов, две-три кофточки, одна практичная темная юбка,черное праздничное платье с белым большим кружевным воротом и рядом блестящих, под золото пуговиц, легкая кофточка на лето и грубошерстная для холодов, демисезонное пальто, полушубок и белье. Кажется, что еще нужно женщине с телом и мыслями Зинаиды, простой советской доярки?

"Нужно меня",- зашептало платье из итальянского чулка. "Нужно нас", - забормотали чешуйки, переливаясь и мерцая разноцветными огоньками с преобладанием золотых.

Но это сказочное платье шептало, к сожалению, не из шкафа. Такого платья вообще не было. А была болтовня дочки о том, как она и ее подружки навещали Доната Васильевича, учителя английского языка, когда у него сломалась рука при падении с лошади, как они помогали учителю готовить,стирать, вообще по хозяйству, как он на экран во всю стену проецировал разные слайды, и больше всего про Индию, какие истории он рассказывал, как позволял им себя записывать на японский магнитофон, как однажды раскрыл чемодан с диковинными сувенирами, и там еще был отрез материи,мерцающей, как золотая рыбка. Эта материя - как чулок, узкая,сильно растяжимая, девочки мерили, всем очень шло, только для рук надо дырки прорезать и подшить, чтоб края не сыпались.

Зинка запомнила про отрез, даже во сне его как-то примеривала и торговала у Доната - но мало ли что у кого в чемодане.

- Наденешь меня, - строго сказало Зинкино праздничное платье. Она сдернула платье с вешалки, влезла в него,погляделась в зеркало.

Платье сидело на ней,как мешок, черный мешок с золотистыми пуговицами и белым большим кружевным воротом. Зинке оно никогда не нравилось (впрочем, в ее жизни не было платьев, которые бы ей нравились,- может, фигура подводила?), но в соседних деревнях и даже в районном центре такие платья были приняты.

На лекциях, торжественных собраниях, концертах художественной самодеятельности рядом, бок о бок, садились женщины почти в одинаковых нарядах.Хорошо - мужики их перемежали своими черными пиджаками и белыми, с галстуками, рубашками, а то бы женщин в черных платьях с белыми кружевными воротниками набирался бы целый ряд и платья походили бы на униформу. Такое единство женских платьев, конечно, гармонировало с докладами о задачах и целях партии и положительно влияло на атмосферу высокой сознательности, столь любезной сердцу заезжего лектора-пропагандиста.

Но если сельчанок сводил стол - свадьба,праздник какой,день рождения, за которым чувство сознательности принципиально не присутствовало, поскольку никак не могло мириться с водкой, сальными анекдотами, танцульками, бесстыдными щипками, вообще противоречило простой раскованной жизни, любезной сердцу народа, - тогда единство женских нарядов неприятно резало глаз.

Все, кто забросил совсем мысль свести с праведного пути хотя бы какого-нибудь мужчину, покорились черным платьям с белыми воротниками, то есть тому, что в гроб их положат именно в этих платьях. В деревне таких было немало, а точнее сказать - большинство.

Зинка была посложней и задиристей. Ее неудачный с рождения облик скрывал за собой чувства и мысли, какие могут реализовываться только в женщинах-красавицах. Это жестокое противоречие осложняло ее натуру и иногда поднимало в ней бури.

Зинка безжалостно, через ноги, с треском по швам содрала платье и втоптала его в пол.

- Сдохну, но больше не одену, - прошипела она женщине в короткой розовой комбинации.

Прошипела, а дальше что? А дальше - розовая комбинация, на которую неча одеть.

- А вот как явлюсь в компанию голой, - пригрозила она отражению.

Минут через десять после того Зинка стучалась в дверь дома учителя английского языка.

2

- Донат Васильевич, а я к вам, - сказала она в тяжелую дверь после стука и "иду, иду". Пока было иду-иду, она с любопытством огляделась в полутемном большом коридоре с еще одной дверью,видно, в уборную.

Там любопытного было мало, лучше сказать, было только скучное: несколько твердых картонных ящиков, поставленных стопкой один на другой, а верхний ящик был кошкиным домом,поскольку топорщился сверху соломой, обрывками ваты, ушами, усами и вопросительно-нервным хвостом, пара пустых проржавевших ведер, мешок с чем-то, наверно с картошкой, мешок поменьше, наверно с капустой, мешок еще меньше, наверно с луком или со свеклой,или с мор-

ковью, черные, страстно в обнимку валенки, пара рассорившихся туфель, пара полупьяных сапогов, пара пора-бы-на-кладбище шлепанцев.

Пока было "иду-иду", быстрые женские глаза успели промчаться и по стенам, и вот что они увидали на бревнах: кучу гвоздей - железные мамы с железными детками мал мала меньше,пыльный овчинный седой полушубок,пыльная стеганая телогрейка,в которой все зимы и демисезоны живут рабочий класс и крестьянство и свихнувшаяся интеллигенция, ржавое полотнище пилы, керосиновая лампа, бельевая веревка, шпагат с прищепками,старый собачий ошейник,и все.

Звякнул крючок,дверь провалилась, в проеме стоял заспанный, встрепанный,яркий просторный восточный халат. Отороченный красным бархатом, широкий, почти до окраин плеч ворот спускался до живота, терялся под красным кушаком, мерцавшим серебряными блестками. На белой гладкой широкой груди, тронутой рыжими волосками, висел крест из черного дерева с серебряным распятым Иисусом. Ноги халата кутались в тапки, массивные, с загнутыми носками,тоже отороченные, но черным мехом.

Зинка попятилась от двери. Но это не город, не дом с этажами, где можно подумать, что ошибся.

- Чего испугалась? - спросил халат хрипловатым заспанным голосом, голосом барина прошлого века, вдруг ожившего на портрете.

- С чего-т ты решил, что я испугалась? - сказала Зинка,беря себя в руки и плавно внося себя в помещение.

Донат захлопнул тяжелую дверь, окованную фигурными полосками, сунул со средневековым звуком изогнутый клюв амбарного крюка в дыру, где нечего было жрать, посмотрел, как гость озирается, склонился над тазом под рукомойником, брякнул клапаном, или как его, наполнил водой чашу из рук и сказал перед тем как плеснуть:

- Ты посиди пока на кровати, а то я почти что всю ночь работал.

- Чего? - с любопытством спросила Зинка.

- Писал мемуары, - сказал Донат и выплеснул воду на лицо.

- А, мемуары, - сказала Зинка. - Спасибо, - сказала очень воспитанно, присела на край железной койки и продолжила озирание.

В самой обычной обширной комнате с русской,смещенной от центра печью, с тремя одинаковыми оконцами в грубовато оклеенных стенах, кроме кровати, где Зинка сидела, находились такие вещи: скамья с ведрами и баком, два старых фанерных шкапчика,стол под клеенкой, полка с книгами, три чемодана один на другом,большой, из двух половин занавес, изображающий листопад и скрывающий четверть комнаты, наконец, спина хозяина, заслоняющая рукомойник. Ничего необычного не было, но Зинка озиралась с таким любопытством, что еще раз доказала мысль: не вещи красят человека,а человек украшает вещи.

Дольше всего она смотрела на занавес с буйным листопадом. Конечно, и занавес был хорош, но если бы он висел на стене или занавешивал окно, Зинка скорей убрала бы взгляд и занялась чем-то другим. Но он прикрывал неизвестно что, целую четверть боль-

шой комнаты неизвестно с чем, и это было почти мучительно.

Если бы буйство ее фантазии равнялось хотя бы половине буйства рисованного листопада, то в четвертом углу комнаты Зинка узрела бы пышный альков с вольно раскинувшимися на перинах,разнокалиберных подушечках, атласе, бархате, плюше,шелке одной или даже двумя красотками, разумеется, обнаженными, потягивающими шампанское, покусывающими ананасы и посасывающими сигаретки.

А для Доната буйство листьев, гонимых сильным осенним ветром, означало их бессознательный страстный протест против всего, протест, ожидавший любого повода, любого движения,пусть даже воздуха, протест, не вникающий ни во что, протест, состоящий из протеста, рожденный от папы и мамы Протестов,родящий маленьких твердых Протестов, протест, как комочек вещества,неподвластного силе и времени, или как самая хрупкая вещь - дунь на нее, и она рассыплется.

Ветер подул, и листья сорвались и понеслись, кружась и толкаясь, дрожа, взмывая, планируя, падая, с лету вонзаясь в прекрасный мир, еще непонятный, полный иллюзий, тем и прекрасный, что незнакомый. В лужу, камень, траву, мох, ручей, грязь,песок, яму, кусты - неважно, куда вонзаться. Что там дальше, тоже неважно. Плавать по луже от края до края, комкаться, мокнуть, тонуть, ну и что. Прижаться к холодному мокрому камню, жить, распластавшись по древней тверди, темнеть, расползаться, ну и что. Запутаться в желтых погибших травах, стареть среди смерти, ну и что. Нестись по ручью навстречу реке, может быть к морю, ну и что. Позволить невзрачному глупому мху сгноить и пожрать тебя, ну и что. Лежать на песчинках с телом в песчинках, ветра порыв, и лететь, кувыркаясь, по миллиардам других песчинок, бесстрастных, бесчувственных, равнодушных, похожих на звезды, на тот же песок, брошенный в небо и засветившийся, ну и что. Слипнуться с грязью, в ней раствориться, тоже стать грязью, ну и что. Застрять среди твердых колючих кустов, надменных, как уличная толпа...

Разве главное в том, что будет? Ну, будет, но миг - и было, и стало знакомым, старым и скучным. И все, что будет,уже как бы было, поскольку конкретность - весь мир конкретен - знакома,стара и скучна Протесту.

А главное в тех скрупулах времени между знакомым и незнакомым - когда ты летишь от старого к новому и перечеркиваешь мир желтым печальным трепетным телом.

3

Плеск и фырканье прекратились, Зинка отдернула взгляд от занавеса, повернула глаза к Донату, а он, большой и яркий такой, утирает лицо полотенцем, с усмешкой глядит на нее и спрашивает:

- Ну что, понравился листопад?

Зинке не надо было задумываться. Она вообще была из людей, которые все говорят не задумываясь.

- А ничего, расцветочка миленькая. Я тут, пока вы мылись, глядела, да и подумала: вот бы и мне такое же платьице пошить.

- Да это ж не платье, - сказал Донат.

- Не платье, я вижу, что не платье. Я не ослепла еще, я думаю. Я о расцветочке говорила. Ничего, подумала, миленькая, вот бы такое же платье пошить.

- Это клеенка, - сказал Донат. - Из клеенки платья не шьют.

- Вижу, клеенка, я не ослепла. И не хуже вашего знаю,что из клеенки платья не шьют. Просто уж очень расцветка понравилась, в жизни такой красивой не видела. Вот и подумала...

- Это из Индии, - сказал Донат. - Там умеют раскрашивать вещи. И особенно материалы.

- Правда? - жадно спросила Зинка. Она не спеша, но пока очень верно приближалась к заветной цели. - Вот бы глянуть одним глазком, какие у них материалы.

- Да вот же. - Донат показал на занавес.

Зинка с досады внутри сплюнула. Будто затем и явилась сюда, чтоб обсуждать проклятый занавес. Ну ничего. Она вздохнула.

- Да, умеют в Индии делать...

- Что умеют,а что не умеют, - сказал Донат и похлопал бак. - Вот железки они плохо делают. У них все железное очень дорого. Низкий уровень механизации.

- Механизации?! - вскинулась Зинка. С таким чувством произнесла мохнато-железное, жутко тоскливое, осточертевшее всем слово, будто сидела на конференции, посвященной механизации.

- Да будь она проклята, эта механизация, - со страстью выдохнула Зинка, и Донат грешным делом подумал, что она проклинает мужа - тракториста-механизатора и восславит сейчас - кого же?

- Не проклинай, - сказал Донат. - Что бы ты делала без механизации? Ты бы доила коров вручную, давала низкую производительность труда, выбивалась из сил, зарабатывала копейки.

- А ты не знаешь, так и молчи, - озлобленно сказала Зинка. Но тут же опомнилась: что же она, пришла просить,а сама кричит, так не годится, надо помягче. Фу ты, ну как же она сорвалась.Уж чего бы лучше - в постели, после постели попросить. Это с бабами надо думать, с какого бока лучше зайти, а с мужиками лучше в постели. О чем угодно договоришься. Аристократки после этого бриллианты себе выпрашивали, особняки, экипажи, что хошь,а одна наша разведчица после этого смогла выпытать план дислокации танковых войск. Ах, как жаль, что она сорвалась. Теперь и не знаешь, как подступить.

- Ты лучше не спорь, - сказала ласково. - Лучше наведайся к нам на ферму да погляди своими глазами, какая у нас механизация. Канализация, да и только.

- Канализация - это точно. Дунет от вас,хоть топор вешай. - Донат поморщился. - Нет, не пойду. Мало, что я насквозь провоняю...

- Я ж не воняю, - сказала Зинка.

- Вроде бы нет, - сказал Донат. - Одеколоном,вроде бы, пахнешь. А может, по случаю юбилея, - да, поздравляю тебя с шестидесятилетием твоего супруга - может, по случаю этого праздника ты выкупалась в одеколоне?

- Это духи, - сказала Зинка.

- Значит, в духах, - сказал Донат.

"Дурак", - подумала Зинка.

- Так вот, - продолжал Донат. - Я не пойду на вашу ферму, потому что насквозь провоняю, потому что туда далеко, потому что в грязи увязну.

- Я же не вязну, - сказала Зинка.

Донат отвалился спиной на бревна, обнял руками таз и ведро, прикрыл глаза и с минуту молчал. Его раскачивало и мутило, как будто дом раскачивали волны.

- Никогда не сравнивай себя со мной. Ты - крестьянка, а я - интеллигент. Ты врыта в землю, ты часть той же грязи, ты ветка дерева, ты кусок коровы. А я верхушка степного растения, легко отрываемая ветром, меня зовут Перекати-поле. Куда меня вольный ветер прикатит, где зацеплюсь, там и живу. Закатит в грязь,буду жить в грязи. Только потом, как бы ветер ни рвал, я не смогу из грязи выбраться.

Донат поднялся, прошел за печку, вернулся с ковшом, зачерпнул из бака, жадно, проливая воду на шею и передергиваясь от озноба, опустошил ковш.

- Это с похмелья, - пояснил. - Вчера сам с собой напился. Ах, какой закатил концерт себе из будущих воспоминаний! Такого в Кремлевском Дворце не увидишь.

Зинка хотела уточнить про будущие воспоминания, но вместо этого спросила:

- Ты, что ли, был в Кремлевском Дворце?

- А как же, - сказал Донат. - Ты разве, Зинулечка, не знаешь, что в Кремлевский Дворец съездов можно пройти кому угодно? Понимаешь, это такой дом, большой, симпатичный, современный, в котором каждый, кто пожелает, может понюхать тот же воздух, который вдыхает его правительство, пройтись по коврам, коридорам, лестницам, по которым ходит правительство, зайти в сверкающий туалет, которым пользуется правительство, прокатиться под крышу на эскалаторах в красивый огромный банкетный зал, в котором при каждом удобном случае правительство пьет за здоровье народа,посидеть в гигантском зрительном зале, в котором правительство принимает всякие гигантские решения. Одним словом, Зиночка, это дом, попав в который, ты испытаешь тот особый сладостный трепет, благодарный, любовный, томительный,приподнимающий тебя над твоей бесконечной навозной кучей, словно каким-то чудесным образом ты оказалась в царских покоях, легла на роскошное царское ложе, и вот-вот явится царь.

Зинка расширила глаза.

- Вот здорово. Вот бы попасть туда. Разок бы вблизи посмотреть на правительство и побеседовать с ним.

- Ты не увидишь вблизи правительство. Простым трудягам оно не показывается. Оно одаряет своим присутствием только избранных передовиков.

- И я передовица, - сказала Зинка. - План выполняю на сто пять процентов. Я на ферме на Доске почета. Почему я не могу побеседовать с правительством?

- Этого не достаточно, чтобы беседовать с правительством. Таких, как ты, у нас миллионы. Правительству некогда будет работать, если оно будет беседовать с миллионами. Оно может себе

позволить побеседовать с одним из миллиона. И ты понимаешь, что этот один должен быть достойным человеком.

- Я, что ли, недостойный человек?

- Ты недостаточно достойный человек. Достаточно достойный беседы с правительством перевыполняет свой план по крайней мере на триста процентов. Он должен быть инициатором разных патриотических починов. То есть, не он их, конечно, выдумывает, их выдумывают в ЦК партии, но он достоин считать их своими. Он обязательно должен вести большую общественную работу. Он должен быть орденоносцем. Совсем хорошо, если он коммунист. Он должен быть примерным семьянином, человеком высоких моральных качеств. Он должен быть политически подкованным и беззаветно преданным партии, правительству и делу коммунизма. Он должен быть пламенным интернационалистом. Он должен люто ненавидеть империалистов и всех их прихвостней. Он должен последовательно, принципиально бороться с пьяницами, хапугами, бюрократами, лодырями, нарушителями трудовой дисциплины и общественного порядка. Его кандидатуру должны одобрить, согласовать и утвердить в райкоме,обкоме, Центральном комитете. Только такой человек, Зинуля,может беседовать с правительством.

- Таких людей нету, - сказала Зинка.

- Как же нету, - сказал Донат, - посмотри подшивку любой газеты, и ты найдешь фотографию, несколько, где рядом с правительством простой трудяга.

- Не знаю, не знаю, - сказала Зинка. - Я в жизни таких не видала. Откуда берутся такие ангелы?

- И я не видел, - сказал Донат. - Но, знать, откуда-то берутся.

Зинка подумала.

- А интересно, о чем они могут беседовать с правительством?

- Ты плохо читешь газеты, Зиночка. Они выражают друг другу признательность. С помощью речей, заранее составленных,согласованных и отпечатанных. При этом в речи передовика выражается только признательность, а в речи правительства кроме признательности выражается также надежда, что передовик будет работать еще лучше.

- А почему передовик не выражает такой же надежды?

- Потому что правительство работает так хорошо, что лучше работать уже невозможно.

- Так не бывает, - сказала Зинка. - По-моему,всем можно лучше работать.

- Это с точки зрения простого трудяги. А с точки зрения избранного передовика, правительство работает идеально.

- Идеально? - Зинка усмехнулась. - А почему тогда жрать нечего? Придешь в магазин, и как дура стоишь. Ни мяса, ни рыбы,ни молочных продуктов, ни яиц, ни фруктов, ни овощей, ничего. Одни консервы, да черствые пряники. Куда это годится - треску привезут, мороженую, сто лет где-то лежала, и очередь за ней до самых дверей. А разморозишь эту треску - воняет тухлым, хоть нос затыкай. А одеть почему нечего? Я свое праздничное платье уже четвертый год таскаю.

- Сейчас поясню, - сказал Донат. - Правительство считает, что если у колхозника есть возможность вести собственное хозяйство, то зачем в деревню везти продукты. А с одеждой в деревенских магазинах лучше, чем в городе. Возьми овчинные тулупы. Висят, и никто их не берет. А в городе их днем с огнем не сыщешь. Специально едут за ними в деревню.

- Ну, иногда привозят вещи. Ну и что? Я-то их не вижу. На других вижу, а в магазине не вижу. А почему? А потому, что все по блату. А я не привыкла другим лизать зад.

- Зря не привыкла, - сказал Донат. - Хочешь что иметь, умей лизать зад.

- Кому? Этой вобле белоглазой?

- А хоть и продавщице. А хоть и правительству. Как эти избранные передовики. Выразят признательность, и у них все есть. Квартиры, машины, путевки, барахло, даже экскурсии за границу.

- А я не лизала и не буду! Никому! Даже правительству!

Донат засмеялся.

- Не фуфырься, Зиночка. Ты вскочила на пьедестал, воздвигнутый для кристально честного человека, и прокричала те слова, которые должен кричать он. Но ты смогла вскочить на пьедестал, потому что такого человека нет, никогда не было и не будет. Человечество придумало этот пьедестал и воздвигло его в каждом человеке, чтобы он мог время от времени, а именно в минуты беседы с совестью,вскакивать на него, принимать позы и выкрикивать красивые слова. Иначе говоря, пьедестал кристальной честности нужен человеку для обмана совести и самоуспокоения.

Зинка нахмурилась.

- Почему я нечестная?

- Почему ты, почему я, почему все люди нечестные? Да откуда же взяться кристально честному, если никто, ни один мудрец не может с уверенностью сказать, в чем истинный смысл жизни, в чем ее основные ценности, если каждого человека всю его жизнь гложет сомнение в правильности жизненного пути, в правильности выбора жизненных ценностей, если сомнение неизбежно ведет к колебаниям, отступлениям, переоценкам, переменам, раздвоению, расщеплению, многоликости, терпимости, необходимости примирять противоречивые явления.

Донат замолчал. Зинка кашлянула.

- Да,симпатичненькая расцветочка, в жизни не видела такой. Я и сама,пока вы мылись, подумала, что больно уж симпатичная, чтобы ее продавать где попало. Так и подумала, что заграничная. Вот же умеют где-то делать! Вот бы мне такую на платье, а то я сейчас совсем раздетая.

Донат невольно раздел Зинку взглядом. Зинка поймала его взгляд и подтянула ближе к коленям подол в выцветших ромашках.

- Что же это вы, - сказал Донат, - совсем раздеты и на кровати. Что ж это я одет и стою на холодном голом полу.

Любая бы женщина развеселилась, если бы ей намекнули на близость, а тот, кто ей намекнул на близость, стоит на холодном голом полу в массивных, на теплом меху тапочках с сильно загнутыми носками.

- Ха-ха, ха-ха, - хохотала Зинка, - ха-ха,на холодном голом полу,ха-ха,вы скажете,ха-ха-ха,а сами в тапках,как у,ха-ха, как у, ха-ха, старика Хоттабыча, ха-ха-ха, ха-ха-ха.

Зинка от хохота даже упала, то есть откинулась на подушку, ромашки отдернулись к животу и бесстыдно открылись трусики. Донат поглядел на желтые трусики, на полоску белого живота,шагнул к кровати и сел рядом с Зинкой.

4

Едва праздношатающийся Донат возник в поле зрения торговца, с того вмиг, как семена с одуванчика, слетели апатия и леность, с которыми он сидел на полу,на скрещенных босых ногах, и сквозь полузакрытые глаза наблюдал за бурлящей улицей.

Он вскочил, подбежал к Донату, закивал, заулыбался, заблестел живо глазами, забормотал на сносном английском.

- Да, сааб, пожалуйста, сааб, прошу вас,сааб,заходите,сааб, что вам угодно, садитесь,сааб, что предпочтете из напитков,ваше счастье, что вы здесь, лучшего выбора материалов вы больше нигде не найдете, отличное качество, только получено, любые расцветки, совсем не дорого, дешевле нигде, выбирайте, сааб.

Выполнив первую часть программы, то есть зазвав Доната в лавку, пригвоздив его к мягким подушкам, заткнув рот ледяной кока-колой, включив вентилятор (если он есть),торговец, мало интересуясь, что именно нужно саабу, главное, был бы тот состоятельным, - что, спасибо опыту предков, накопившемуся в крови,торговец чувствует безошибочно, - стал демонстрировать Донату весь имеющийся ассортимент, действуя при этом стремительно, ловко, с изяществом и шиком искусного фокусника. Цель этой части программы - ошеломить, подавить покупателя, привести в состояние растерянности и зависимости, заставить устыдиться, что ради него лавку выворачивают наизнанку.

Черный, худой, как щепка, мальчишка подавал торговцу рулоны, торговец швырял их в конец лавки, рулоны, стремительно разматываясь, описывали в воздухе дугу, каждая новая дуга спадала медленно на пол шелестящим красочным шлейфом. Не успевала приземлиться нежно-зеленая дуга, как над нею уже парила нежно-сиреневая дуга. А в руках продавца уж рулон тонкого желтого гипюра. В этот же миг мальчишка протягивал розовый, в крупных цветах, нейлон. Шелковые, атласные, териленовые, терракотовые дуги разворачивались, застывали, потом, изгибаясь, волнуясь, красуясь, опадали к ногам Доната.

- Хватит, - не выдержал Донат. - Кажется, мне подойдет вот это.

- Вот это, сааб? - крикнул торговец, ломая и отшвыривая от Доната дугу роскошной белой парчи.

- Это, это, - сказал Донат.

Перед ним во всю длину лавки, поверх разноцветной толстой стопы из развернувшихся рулонов мягко мерцал на тяжелых складках черно-золотистый материал,весь будто составленный из чешуек.

- Итальянский чулок? - переспросил торговец.

- Итальянский чулок, - сказал Донат, абсолютно не зная, зачем ему нужен отрез итальянского чулка.

5

"Вот,оказывается, зачем, - думал Донат, поднимаясь с Зинки и запахивая халат. - Затем, чтобы в этой деревушке, о которой я слыхом не слыхивал еще полгода назад, мне за него отдалась эта женщина".

Как это страшно, что все наши действия обязательно насыщены последствиями. Конечно, из будущего обернувшись, видишь многие действия бесплодными. Но это означает только то, что их последствия еще зреют, что каждое действие имеет свой неизвестный срок созревания и этот срок не всегда умещается в человеческую жизнь.

"Какие последствия,любопытно, таит измена Зинки Ивану в день его шестидесятилетия?" - думал Донат, со скрипом расхаживая по разноголосым половицам и поглядывая на Зинку, все еще лежавшую на кровати с лицом,отвернутым к окну.

Зинка села. Оправила платье. Потрогала волосы. Привстала, будто увидев в окне любопытное. Донат тоже взглянул в окно, но там ничего любопытного не было. Посидела немного молча, будто разглядывая занавес. И, вздохнув, проговорила:

- Правда, симпатичная расцветочка.

- Слушай, Зинуля, - сказал Донат. - Под тобой лежит чемодан. Ты его выдвинь из-под кровати и посмотри, что там есть.

- Зачем мне смотреть в твой чемодан?

- Слушай, Зинуля, хватить хитрить. Я не мальчик, а ты не девочка. Мы это только что с тобой выяснили. И не мальчик совсем готов отдать не девочке то самое, ради чего она отдалась.

- Ты что, чокнулся? - спросила Зинка. - Разве я для этого отдалась?

Донат поморщился.

- Опять фуфыришься. Ну-ка, вытаскивай чемодан.

Будто неохотно, ничего не понимая, лишь бы удовлетворить донатову блажь, Зинка вытащила чемодан, откинула крышку,посмотрела на газету и вопросительно обернулась.

- Давай, давай, - подбодрил Донат.

Зинка сдернула газету, всмотрелась в лежавший сверху отрез, всплеснула руками, прошептала:

- Ой, правду говорили девочки! Как золотая рыбка мерцает.

- Бери, если нравится, - сказал Донат.

- Ой, как нравится, - сказала Зинка. - Ой, ты не шутишь,Донатик, а? Ой, можно я разверну?

- Можешь его съесть, - сказал Донат.

Материал развернулся вдоль Зинки, и вся она, от подбородка до колен, золотисто замерцала. Над переливами чешуи счастливо блестели зинкины глазки.

6

Ваня слонялся по тихому дому, холодноватому от прибранности."Что они все, подохли, что ли, - взорвался, имея в виду гостей. - Четверть седьмого, а ни души, а приглашали к шести часам".

Через всю большую комнату тянулся щедро накрытый стол. Ваня сел во главе стола, так, как сядет потом с гостями,придвинул бутылку с коньяком, свинтил пробку, плеснул в рюмку, обвел взглядом пустые стулья, улыбнулся широко и просто, тряхнул чубом,подмигнул, качнул рюмкой, как бы чокаясь.

- Ну так выпьем же, дорогие гости, за мое шестидесятилетие!

"Может быть,там, на пустых стульях и впрямь сидят души гостей, - подумал Ваня, хрустя яблоком. - Я о них вспомнил, и всем им икнулось".

Он выпил еще одну рюмку и еще раз прошелся по стульям пристальным властным взглядом.

7

Ванины мысли так заострились, такой налились силой и скоростью, что все, о ком он успел подумать, были застигнуты врасплох страшной, до судорог икотой.

Задергался и чуть не свалился с лошади председатель поселкового совета, ответственный, настырный, низкорослый мужичок, скакавший в своих обширных владениях хошь в воскресенье, хошь в двенадцать ночи, пусть эта ночь и новогодняя.

Вскрикнула и бросилась искать соду (икоту перепутала с изжогой) его жена, обожательница чая. Уже одевшись во все лучшее, она ждала неугомонного супруга за двухведерным самоваром.

- Я говорила: не обжирайся, - сказала жена директору школы, который, по правде, и не обжирался, а так, пропустив в нетерпении стопочку и зажевав лепестком капусты, некрасиво громко икнул. И тут же сама еще громче икнула.

- Сама обожралась, - сказал директор и, чтобы заткнуть икоту, налил и тяпнул другую стопочку.

- Дурак ты, - сказала жена и икнула.

- А ты дура, - сказал директор, икнул и еще проглотил стопочку.

- Ты что? - спросила Нинка, глядя, как Лешка крупно задергался под одеялом.

- Ик, молчи, ик, проститутка, - дергался Лешка, парень-рубаха, передовой тракторист и бабник.

"Ох,ик, поминает, ик, видно, ик, Ванюша,ик", - подумал пастух, крикнул собаку, страшным двенадцатиэтажным матом покрыл свое ненавистное стадо,разъяренно защелкал бичом и что есть сил огрел коровенку. Иными словами, сказал паскудам, что если они будут телиться, у Вани все разопьют и съедят и он придет разбирать шапки.

"Ик,ах, ик, ах, Боже мой, ик, кошмар", - защебетала странная женщина, имя которой все забывали, такое было сложное имя, которую все называли Мадам, и изумлялись новым нарядам, в которых она - пусть слякоть, пусть вьюга - грациозно плыла по деревне,хотя,по упорно державшимся слухам,ей было давно за шестьдесят. Бусы, которые она примеривала к новой ярко-салатной кофточке, от первого ика упали на пол, лопнула нитка, и бусины весело расскакались по всей комнате.

- Ну, киса, - сказал Гриша, - смотри внимательно в эту дырочку, сейчас оттуда вылетит птичка.

- Ик, - сказал он, камера дернулась, щелкнул затвор, малютка заплакала.

- Что она плачет? - спросил Гриша.

- Она, ик, она, ик, она, ик, она, ик, - задергалась Нюра,жена печника, который тоже проснулся в доме от судорожных сокращений грудобрюшной мышцы.

- Она,ик,она, ик, - задергался Гриша, махнул рукой и утащил домой свою камеру, в которой, он был почти уверен, сам черт не сможет найти малютку - так сильно смазалось изображение.

- Ик, - дернулся Альбинос, и нежнейшую импровизацию грубо нарушил уродливый звук. Альбинос поморщился,зажмурился, восстанавливая мелодию, занес смычок, и звук тоньше волоса, мягче пены, нежнее...

- Ик.

Истошно икая, Альбинос уложил скрипку в футляр, разделся догола, пошел к плите, составил таз на табурет, снял крышку,с нагретой воды взметнулось горячее белое облако и окутало снежно-белое, с голубизной, хрупкое тело.

И остальные приглашенные, кого Ваня припоминал, пристально оглядывая спинки стульев вокруг праздничного стола: механизаторы с супругами, три обязательных старушенции (не пригласишь - по гроб будут дуться), завмаг, фельдшерица и почтальонша (зависишь - и здороваешься ежедневно), несколько доярок с зинкиной работы (тоже, конечно, с супругами), а также дочкины подружки (чтоб не ныла и не мешалась) - все они тоже заикали и так или иначе ускорили сборы к Ване Пшеничке на юбилей.

8

- Ага, разыкалась, - сказал Ваня, услышав слоновьи шаги Зинки вперемежку с истошной икотой.

- Где ты была? - спросил он супругу,еще не видя ее,но зная, что она его уже слышит.

- Где была, там меня нет, - сухо парировала Зинка, все еще невидимая, но вот-вот.

- В погреб ходила? - спросил Ваня и отодвинул коньяк подальше.

- А и в погреб, - отрезала Зинка, чего-то там делая в коридоре.

- Чего там видела интересного? - спросил Ваня и развалился.

- С любовником виделась, - сказала Зинка и наконец вошла в гостиную.

Войти и в конце стола с яствами увидеть крупного, черноволосого, чубатого, с неустойчивым мутно-коричневым провинциальным взглядом, с рыхлыми мокрыми губами, сильно раздвинутыми, но такими, что раздвигай и раздвигай, с орлиной, точеной,авиационной улетающей левой бровью (правая бровь загорожена чубом), так развалившегося на стуле,что и больше захочешь - не развалишься,в белой накрахмаленной рубашке, - именно это увидела Зинка,ступив в гостиную своего дома после того, как в коридоре оправила сбившееся кверху платье из итальянского чулка.

- Хо-хо! - сказал Ваня, и рыхлые губы, сделав две дырки для хо-хо, раздвинулись больше, чем были раздвинуты, но все равно с большим запасом.

- Чего хо-хо? - спросила Зинка, оглядывая стол и оправляя платье. - Опять, что ли,хрюкнул?

Ваня сумел развалиться больше.

- А и хрюкнул, - сказал в тон Зинке. - А то я гляжу, ты ли, не ты, а как золотая рыбка заплыла. Шо ты там на себя нацепила?

- А то что? - спросила Зинка и подбоченилась, как проститутка.

- А ничего, - сказал Ваня, - только я слышал, на Бродвее всех дешевок поразгоняли. Так я позвоню туда и скажу, шоб самолет до нас подгоняли.

- Какой самолет? - спросила Зинка.

- Да шоб тебя на Бродвей переправить. Будешь там самой первой дешевкой.

- Коровья лепешка, вот ты кто. - И Зинка вильнула нарочно бедром. - Да лучше быть первой на Бродвее, чем об такое говно мараться.

- Какое говно? - спросил Ваня.

- Да как ты, - ответила Зинка и сильнее вильнула бедром.

Ваня качнулся и не ответил. Он догадался,что дальше не сто́ит. И он перестал цепляться за платье, которое он увидел впервые, и был шокирован его узостью, соединенной с богатым мерцанием и переливами будто чешуек, ярких и всех цветов радуги, с преобладанием золотого.

Если бы он интуитивно не догадался, что дальше не сто́ит, он очень скоро бы высказал мысль, в общем сводившуюся к тому, что как свинью ни разодевай, она так свиньею и останется. А короткое тесное платье,как бы оно там ни мерцало, лишь подчеркнет недостатки фигуры или, вернее, ее отсутствие, ну а если еще точнее - акцентирует все свиное. Кроме того, он бы потребовал скинуть сей проститутский наряд, выпячивающий все что ни есть на теле, даже соски на обтянутых, сплющенных, словно растекшихся грудях, пупок на колыхающемся животе и бугорок под животом, которого Ваня ни разу не видел даже на голой своей супруге, поскольку его прикрывал черный, пышно разросшийся куст волос, а знал о нем только осязательно, так что сейчас, когда он вдруг выступил, Зинка стала хуже чем голая.

Ваня молча качался на стуле и наблюдал, как Зинка боченится, переваливая на бедрах, то на левое, то на правое,толстый гофрированный обрубок с двумя изломанными отростками и, как мячик круглой и гладкой, совсем без шеи, головой,тяп-ляп приклеенной, и вот-вот скатится.

Зинка тоже не продолжала. Не глядя на Ваню, шла вдоль стола, переставляла или выравнивала то, что и так хорошо стояло. На каждом шагу ее очень короткое, много выше колен мини-платье отчего-то ползло вверх и открывало кружево грации, так что еще бы немного выше, и открывались бы трусы. Чтобы трусы не открывались, Зинка на каждом шагу кланялась. Ступит, наклонится и одернет, ступит, наклонится и одернет.

- Шо, так и будешь ходить при гостях? - как ни крепился, не выдержал Ваня, ну а не выдержал - и покатился.

- Ну и мерзость же ты нацепила. В таком только негров, солдат-наемников и американских офицеров обслуживать,а не находиться среди советских граждан. Бордельное платье, - сказал Ваня.

- Сам ты бордельный, - сказала Зинка, с виду безразлично, а внутренне внимательно выслушав отзыв на премьеру платья,которое она за полчаса сшила на той же кровати Доната из отреза итальянского чулка.

Ванина реакция была не положительной, но к этому она была готова, поскольку в одежде Ваня разбирался, как свинья в апельсинах. Зинку очень интересовало, как конкретно он покритикует. Его критика Зинку обрадовала, как наилучшая похвала. Поскольку зачем же еще наряжаться, краситься, быть привлекательной,как не затем, чтобы все мужчины хотели тобой обладать.

белоглазая продавщица

1

Скучающий крестьянин редко идет в место,отведенное властями для развеиванья скуки. Ему там абсолютно нечего делать. Он задыхается в библиотеке среди тихих старательных школьниц, читающих Ленина и Есенина. Его воротит от сумрака клуба, в углах которого визг и гогот патлатых подвыпивших подростков, дым сигарет,неприятная музыка. Скучающий крестьянин идет в магазин.

Магазин - единственное место, куда крестьянин в дымину пьяный может эффектно вбежать с ружьем, садануть из обоих стволов по запыленному, засиженному мухами, облепленному сдохшей мошкарой, тусклому матовому колпаку. Где можно публично, при первых сплетницах выругать в глаза и за глаза. Где можно себя увековечить великолепной, с погромом и визгом, дракой в стиле ковбойских фильмов. Где можно услышать нечто такое, что переворачивает представление о каком-нибудь человеке.

В магазин можно зайти и без всякой цели. Так, поздороваться с продавщицей, с теми, кто там уже есть, послушать, что мелет кучка баб, узнать, что почем, вглядеться во что-то,пощупать ненужный материал, спросить, а что, ожидается то, обернуться на визг двери, осмотреть того, кто пришел, это ты врешь, сказать бабке, загнувшей такое, что уши вянут, куда тебе столько, мигнуть молодухе, взявшей бутылку и четвертушку, ну как, дед, живем, спросить старика с рыщущим предприимчивым взглядом, здоров, Гриш, отрывисто поприветствовать здоровенного мужика, мрачно сидящего на подоконнике.

Магазин - единственное место, где крестьянин может практически, своими глазами и руками проверить написанное в газете и убедиться лишний раз, что дефицит хороших товаров - вещь неизбежная и полезная в период развернутого строительства. Неизбежная - так как строится, а полезная - так как доказывает,что период очень нелегкий и нужно упорно и много трудиться, чтобы строилось побыстрее. То есть, еще раз убедиться в действии принципа социализма "кто не работает, тот не ест" и осознать,что если в деревне, скажем, нет рыбы или тарелок, значит деревня плохо работает и недостойна тарелок и рыбы.

Магазин - единственное место,где крестьяне могут удовлетворять свои возрастающие потребности в хлебе, валенках, телогрей-

ках, свечах, керосине, мыле, шапках, масле,линейных лампах,тетрадях, крупе, рукомойниках, молотках, топорах, лопатах, пилах, гвоздях, электрофонах, соли, лампочках, шубах, телевизорах,носках, линейках, баранках, водке, конфетах, ситце, клее,фотоаппаратах, нитках,иголках, ведрах, скатертях и другом.

Из этого видно, что магазин - центр, оплот и основа жизни социалистического села и все его жители, включая председателя, должны молиться на старую деву, которая по имени Александра, а по профессии продавщица, и глаза у которой белые, как у мраморной статуи.

Она была очень загадочной девой. Она, если можно так выразиться, владела искусством сбивать с толку. Никто, отправляясь в магазин, не знал, как дева к нему отнесется - сухо кивнет в ответ на приветствие, вовсе не взглянет, промолчит, улыбнется, всплеснет руками, выйдет специально из-за прилавка, чтобы смерить презрительным взглядом, пошлет воздушный поцелуй, лукаво глянет, огрызнется, выйдет специально из-за прилавка,чтобы броситься на шею, захохочет, обматерит,намекнет на нечто интимное, что-то шепнет на ухо тому, кому отвешивает товар, фыркнет, покрутит пальцем у лба, шикнет, расскажет анекдот, попросит немедленно уйти, расцелует, махнет рукой, подбоченясь, будет смотреть, яростно плюнет, испугается, замурлычет веселую песенку, усмехнется, пнет пустой ящик, ужасно расстроится, отвернется, удивленно расширит глаза, белые, как у статуи, бросит совок и уйдет на склад, вызывающе вскинет голову, предложит на ухо сервелат, попросит больше не приходить, участливо справится о здоровье, застесняется, закусит губу, напросится в гости, тяжко вздохнет, невнятно шепнет, поправит платок, пригласит в гости.

Может быть, странное, непредсказуемое поведение Александры объяснялось ее белыми, будто мраморными глазами. Может, она была шизофреником. Может, вечно была пьяной. Может, мстила всему селу за свою вечную девственность. Может, была так сложна и умна, что ее не понимали. Может, над всеми издевалась. Может,принимала наркотики, может, безумно кого-то любила, может,лишилась зрительной памяти, может, исследовала характеры, может, дурачилась от скуки. Как бы там ни было, у магазина сельчане сдирали с обуви грязь,стряхивали снег с воротников и шапок,делали заискивающие лица,нервно напружинивали мышцы,тихо,аккуратно,но поскорее справлялись с тугой окованной дверью, раздвинув губы в смирной улыбке, кивали: здравствуй, Александра. Сашей ее называть не смели, к тому ж Александра очень вязалось с ее длинной сутулой фигурой, с рябым лошадиным нервным лицом, часто меняющим выражения. Она не держала дома скотину и не занималась огородом, поскольку с семи и до двадцати пропадала в магазине, а в выходной к ней домой то и дело наведывались пьяные мужики и умоляли сбегать за водкой. Она отказывала наотрез или, кивнув, тут же бежала. Все понимали, что твердо рассчитывать, если примешивалась Александра,было так же бесполезно, как рассчитывать на лотерею. Но так как она, невзирая на личности, была порой милостива к пацану и непреклонна с председателем, то на нее не обижались, а если роптали, то как на судьбу.

2

Зинка закончила кухарить, сервировала праздничный ужин - у мужа был день рождения - и побежала домой к Александре, с которой заранее договорилась о докупке любого продукта. Она без стука толкнула дверь в чистую, скромную, в белых занавесочках,большую и единственную комнату и сразу увидела Александру, сидящую прямо и неподвижно на белом кружевном покрывале. Словно не слыша двери, шагов и бодрого "здравствуй, а я к тебе",Александра смотрела сквозь тюль занавески и кружево листьев перед окном, пронзенных, омытых и пропитанных боковым желто-розовым светом, на предзакатное бледное небо. Она так сидела довольно долго, но сколько, не знала, будильник испортился, да и не важно, именно сколько, вяло сходила с проезжим шофером в магазин, продала водку, вернулась, присела на кровать и с тех пор глядела сквозь кружево тюля и кружево листьев на кружево неба.

Там, в предзакатных небесах, подернутых бледностью и усталостью, тихо ходили и перешептывались люди с одинаковыми лицами. Она никого не узнавала и наделяла каждого тем, что ей подсказывало прошлое. Они и были ее прошлым - бледно-голубые,утомленные, предзакатные небеса с тихо бродящими, перешептывающимися, одинаковолицыми людьми.

Эти два согбенных человечка лежали разбитые параличом, когда ей исполнилось двадцать лет. И после еще четырнадцать лет она была нянькой этих двух, любящей, преданной и терпеливой.Она научилась шить и печатать и зарабатывала на дому, чтобы больные папа и мама не оставались без помощника. Родители плакали оттого, что искалечили ей жизнь, и она оттого много плакала. Выносила подсов в туалет и, пока его опрокидывала и пока в унитазе кипела все смывающая струя, проливала горькие слезы. Плакала в кухне над сковородкой, и слезы с шипением отскакивали и разбрызгивали масло или впитывались в картошку, которой они в основном питались. Плакала в тесном закуточке между стеной и шифоньеркой, забитой вещами всех троих, став на колени и слепо тыкая мокрой половой тряпкой. Плакала,сидя к ним спиной,за швейной или печатной машинкой, слезы катились по щекам, срывались и вдребезги разбивались о черные клавиши с белыми буквами, словно взывали к алфавиту, к богатому русскому языку, или впитывались в вещи, которые будут носить другие. Плакала после редких фильмов, шла домой и на улице плакала, а прохожие оборачивались и отворачивались с мыслью, что девку, обиженную красотой, парни обманывают и бросают, и не знали, что девка плачет оттого, что ее ни разу не обманули и не бросили, даже ни разу не чмокнули в щечку, даже ни разу не посмотрели так, чтобы можно было вспыхнуть и опустить стыдливо ресницы. Плакала поздними вечерами над страницей, в которой любили, и страница потом коробилась между другими нормальными страницами, словно была покоробленной жизнью между другими нормальными жизнями. Плакала часто перед зеркалом, ненавидела зеркала, но под плохое настроение истязала себя нарочно, изучая свое лицо с желтоватой,шелушащейся угреватой прыщавой кожей, длинным извилистым набок носом, узким выдвинутым подбородком, редко поросшим короткими рыжими жестковатыми

волосками, блеклыми впалыми щеками,густо покрытыми желтыми крапинками, словно брызнули ржавой водой, и не отмыть, не отскоблить, высоким, книзу суженным лбом, сбрызнутым той же ржавой водой, горизонтальными черно-рыжими коротко обрубленными бровями и, наконец, очень бледными серо-голубыми глазами в редких коротких желтых ресницах.

Когда ей исполнилось тридцать четыре, папа и мама в один день скончались. Первым папа, как был, полусидя, на подложенных дочкой подушках, неся ко рту ложку с бульоном. Ложка выпала на тарелку, звякнула, стукнулась о коврик. Мама скосила глаза на папу, увидела, как он с открытым ртом, скатив неестественно набок голову, слепо глядит мимо нее, охнула горько,недоуменно, болезненно, слабо, покорно, тоскливо и, расплескав тарелку с бульоном,скатила голову в сторону папы и посмотрела мимо него. После их смерти Александра плакала дни напролет два месяца, а когда перестала плакать и поглядела внимательно в зеркало наконец-то сухими глазами, охнула так, как ее мама в последний раз перед кончиной.

Перед нею неясно стояла женщина с белыми глазами. Она отскочила и закричала так, как ни разу не кричала - тонко, тоскливо, сердито, растерянно, долго кружила по тесной комнате и хотела, и не решалась еще раз взглянуть на себя в зеркало, наконец подошла к нему сбоку, с ужасом, будто в хищную пасть, вытянув шею и вся изломавшись, ввела голову в плоскость зеркала и посмотрела на отражение.Из глубины узкого зеркала, как из пролома в белой стене, ведущего в жуткий неведомый мир, смотрело мраморными глазами женское неясное лицо. Она пересилила все, что тянуло прочь от пролома в белой стене, к миру привычных, понятных вещей, долго смотрела и привыкала к своему новому лику. Но напрасно она пыталась прояснить черты лица; как ни вглядывалась,ни поворачивалась, с какого бы ракурса ни смотрела, видела два мраморных глаза на ускользающем лице. Вдруг она вспомнила свое прежнее некрасивое лицо и засмеялась,и отошла, и, намурлыкивая песенку, села за швейную машинку. Шила проплаканную макси для хорошенькой девочки-школьницы, макси, закручивающую винтом вихрь ярких контрастных цветов, летящих от талии и вокруг, летящих по бедрам и вокруг, летящих по ножкам и вокруг и обрывающихся в пол, шила с сухим счастливым лицом, думала: Господи, наконец-то я не такая, какой была. Она работала споро и весело, проголодалась, пошла на кухню, нажарила много картошки с луком, все поела, умылась, разделась, легла и крепко уснула.

Утром проснулась в неясной тревоге. Подумала: странный какой был сон. Долго лежала и все вспоминала женщину с белыми глазами. Встала, направилась в туалет, а по пути заглянула в зеркало. В узком проломе в белой стене стояла в белой ночной рубашке женщина с белыми глазами на ускользающем лице. Все, что было вчера, повторилось: и испугалась, и отскочила, и заглянула в зеркало сбоку, и попыталась вглядеться в лицо, и засмеялась, вспомнив прежнее некрасивое лицо. На сей раз, однако, она догадалась проверить свое лицо наощупь. Скользнула руками, не поняла. Медленно, плотно прижав ладони, провела их сверху вниз и опять не поняла."Что же случилось?"- спросила себя и женщину с белыми глазами.

Словно выждав эту минуту, в памяти бурно пролился ливень - слезы всей жизни капля за каплей стерли, размыли,растворили крохи пигмента в глазной роговице, и роговица стала белой, как полированный белый мрамор с голубоватыми и розоватыми тоненькими веточками-прожилками. Но отчего ускользало лицо?

Она собралась и вышла из дому и направилась в магазин. Много людей ходило по улице, но никто на нее не смотрел,потому что никто никогда не смотрит на длинных сутулых женщин в простой мешковатой синей одежде, бредущих неженственной походкой со старой хозяйственной сумкой в руке. Она шла так, как всегда ходила,как ходит женщина,на которую никто ни с какой целью не смотрит, - резко выбрасывая ноги, часто шаркая, угловато,болтая безвольно свободной рукой и не болтая рукой с сумкой, а лишь сумка сильно качалась, будто висела на крючке, прибитом к оглобле идущей лошади, глядя в землю или же вбок, на проплывающие витрины. Люди проскакивали ей за спину, опережали ее,отставали,пересекали ей дорогу,были быстро,средне и медленно переступающими ногами в штанинах, туфлях, сапожках, подолах, ботинках, носках и чулках. Только когда подошла ее очередь и заготовленная фраза "сто грамм масла, банку горошка, пачку творога и сырок" начала быстро слетать с языка, она подняла голову выше и посмотрела в лицо продавщицы.

"Стогра..." повисло в кисло-лежало-сыро-пряно-несвежем воздухе продовольственного магазина с тучными мрачными раздражительными бой-бабами за прилавками; с красными рамками за их спинами, извещающими, что бой-бабы борются за звание ударников коммунистического труда; с красным вымпелом "Победителю в социалистическом соревновании"; с желтой резной внушительной рамой, где за стеклом, чтоб меньше пылились, красуются качества, озаглавленные "Кодекс строителя коммунизма", которыми бой-бабы должны, или, может, уже обладают, поскольку все эти качества приведены в настоящем времени; с точно такой же портретной рамкой, где за стеклом не до́лжно пылиться социалистическим обязательствам,взятым бой-бабами на год или сразу на всю пятилетку; с более скромной, но симпатичной, обычно черной или коричневой и обязательно застекленной рамкой, в которой бой-бабы извещают, что они упорно борются, чтобы их родной магазин стал магазином высокой культуры и коммунистического труда.

"Стогра..." повисло и заметалось, заколотилось в крови бой-бабы, кровь, распираемая "стогра...", хлынула бой-бабе в глаза, запрудила и переполнила перекормленное лицо. "Стогра..." вонзилось в уши под патлами,как неслыханное оскорбление. "Стогра..." ржавой тупой ножовкой прошлось по натянутым нервам бой-бабы. "Стогра..." разинуло жирный рот и заорало на весь магазин:

- Штой пряперла кали ня знаить чаво ий надабна у махазини.

И бой-баба, сыпля проклятиями, правда,произносимыми уже потише, не на магазин, а только на секцию,- наглядное свидетельство огромных успехов в воспитании человека коммунистического общества - плюнула в сторону Александры и, отвернувшись бесповоротно, уставилась на следующего покупателя полыхающими глазами.

Ну, а что же тогда Александра? И вообще,почему "стогра...", а не заготовленная фраза? А потому, что когда Александра посмот-

рела в лицо продавщицы, которое было первым лицом после того, как кончились слезы и в зеркале вдруг отразилась женщина с белыми, мраморными глазами и исчезающим лицом, она увидала такую же женщину с белыми, мраморными глазами и исчезающим лицом,словно она опять оказалась перед зеркалом в своей комнате. Это ее так поразило, что после "стогра..." она онемела и не могла пошевелиться. Хотя продавщица и отвернулась и нарезáла российского сыру для покупателя за Александрой, она далеко не забыла ту, которая вздумала издеваться или была лишена памяти, и потому, когда она с сыром повернулась лицом к покупателям и увидала опять Александру, ненависть, ярость и жажда отмщения заклокотали еще неистовей и обрушились на Александру фразой,звучащей примерно так:

- Хляньтя стаить чавот ня уходить каму казала ня буду апслушива як нынармальня мяшаеть рыботать.

Очередь глухо забормотала, сплачиваясь в гневный коллектив, готовый решительно дать отпор чуждому элементу.

- Да что вы, граждане, очумели? - раздался вдруг свежий мужской голос. - Это ж слепая, вы что, не видите?

И продавщица, и вся очередь бросили жадно сверкнувшие зенки в сторону и на лицо скандалистки, и увидали, что скандалистка была на самом деле бельмастая.

- Штой-та ты срази ня хаварыла? Чо тя стахраму? - спросила бой-баба, друг, товарищ и брат Александры.

Мысль: каждый, войдя в магазин, должен погромче уведомлять: слабый на ухо, бельмастый, безногий, шизик, немощный, мать-героиня, склеротик, герой Великой Отечественной, пьяный, хороший знакомый директора, эпилептик, член комитета, хам,тифозный,психопат, культурный, чувствительный, горлопан, круглый дурак,грузин, все равно, интеллектуал, будущий зять, вчера из тюрьмы,столичный актер, ни рыба ни мясо, из горкома, простой инженер, очкарик, приезжий, жалобщик, лечащий врач, скандалист,знаком с начальником ОБХСС.Знай,кто вы, бой-бабы будут подстраиваться под вас, то есть придет конец порядку, который вас вынуждает подстраиваться под хоть и тоненькую блондиночку, но как ответит - бой-баба бой-бабой.

А Александра не отвечала другу, товарищу и брату, стыла там же перед прилавком, переводила с лица на лицо белый, проколотый в центре взгляд и не могла никого отличить, только что женщину от мужчины. Вся магазинная длинная очередь состояла из близнецов с белыми мраморными глазами на пропадающих белых лицах.

- Та ана-ш ищо и хлухая! - всплеснула руками продавщица. - Хто тольки их выпущае на вулицы.

И отвернулась от Александры, как от столба, который кто-то принес и поставил у прилавка, - хай жэ друхи ихо убыраюць, а у мини барба за план.

Все отвернулись от Александры,никто не хотел убирать столб, все боялись привлечь внимание этой бельмастой, глухой,неподвижной, наверняка к тому же чокнутой.

Она очнулась сама по себе, вышла с пустыми руками на улицу и побрела обратно домой. Все, кто ходил перед ней на улице, были похожи, как капли воды. Посмотришь на этого, на другого и ви-

дишь лишь белые глаза, и видишь, как капля исчезает, будто впитывается в землю, будто взгляд ее обжигает, и она обращается в пар. И опять на нее не смотрели или смотрели с досадой и нервностью: вот ты идешь и загораживаешь то, что я мог бы сейчас увидеть. И Александра, проверив себя и утвердив в себе новый облик окружающего человечества, вновь опустила глаза к земле, и человечество обратилось в подолы, чулки, штанины, шнурки, каблуки, туфли, сапожки, ботинки.

Выплакав добела глаза, она, очевидно, начисто выплакала все свои теплящиеся иллюзии в отношении человечества, веру, надежду и любовь. Люди, не видевшие ее до тридцати четырех лет, не различавшие ее среди вещей, мыслей, чувств, тридцать четыре года назад были уже одинаководицыми, с белыми, мраморными глазами, только иллюзии ей мешали видеть их в истинном обличье. Их слепота заразила ее, она заболела припадками плача, проплакала зернышки роговицы, которые были ее иллюзиями, проплакала веру, надежду, любовь, слезы иссякли, она умерла и возродилась к жизни прозревшей, не отличающей никого. Видела так же, как прежде, вещи, улицу, дом, других людей, видела, как они смеются, ходят, болтают, делают что-то, но не могла различить их лиц - только на них устремляла взгляд, они начинали пропадать вместе с их мраморными глазами.

Если с тобою не говорили, и ты не научишься говорить. Если тебя никто не ласкал, и ты не научишься ласкать. Если тебя никогда не любили, и ты не научишься любить. Если никто на тебя не смотрел, и ты не захочешь смотреть на других.

Люди, которыми город кишит, стали бессмысленными манекенами, мстящими ей за ее слепоту. Теперь повсюду ее преследовали шепот, шиканье, сдавленный смех, удивленные возгласы, тишина, неоконченный разговор, тяжкие вздохи, невнятное слово.

Она перестала ходить на кладбище, потому что в воспоминаниях папа и мама стали похожими на окружающих людей. Так оборвалась последняя нить, которая связывала ее с городом, в котором она прожила всю жизнь.

Она отыскала один адрес в стопке старых родительских писем, чей - она точно уже не помнила, главное, это был адрес деревни, в которой она, когда была девочкой, однажды гостила с папой и мамой.

Эта деревня ей снилась всю жизнь, и чаще всего один солнечный день: она сидит верхом на коне, а сзади ее кто-то обнял, конь тихонько идет по тропинке, она покачивается и отводит зеленые мягкие ветви берез. Возможно, деревня снилась всю жизнь, поскольку с тех пор папа и мама ее никуда не вывозили. Может быть, светлое воспоминание было таким светлым и радостным, что ее обнимал кто-то, когда она ехала на коне. Как бы там ни было, Александра, тридцати четырех лет отроду, женщина с мраморными глазами, которую все считали помешанной, незамужняя, некрасивая, объявилась в небольшом среднерусском поселении на берегу симпатичной речушки.

Зинка спешила, не стала ждать,пока Александра очнется сама, приблизилась к ней и прикоснулась к острому, в белом гипюре,плечу.

- Водки не дам, - сказала Александра, не оборачиваясь, не интересуясь, кто там пришел и ее трогает.

- Я это, я, Зина Пшеничка, - торопливо сказала Зинка. - Мне бы хлебца еще докупить, и если еще сардины остались...

- Сказала - не пойду! - отрезала Александра.

Зинка отступила, немного помолчала, хотя ей орать и орать хотелось, поправила прическу, то есть свой узел, торчавший на затылке из года в год, но сбрызнутый сегодня лаком для волос и потому ставший прической, уткнула толстые руки в бока, переступила, открыла рот и раздраженно проговорила:

- Ты, видно, забыла, Александра, о чем мы вчера с тобой договаривались?

На это Александра вообще не отвечала, а продолжала смотреть в окно. Зинка вздохнула: чего с нее взять, сбросила руки и вполоборота:

- Так ты и к нам не собираешься?

- Не собираюсь, - сказала Александра.

- Ну, как желаешь, - сказала Зинка. - Только если ты соберешься, то захвати в магазине хлеба, а о сардинах уже не прошу.

- Ладно, - сказала Александра.

Зинка шагнула через порог, но задержалась в открытой двери, оборотилась и с усмешкой:

- А кофту из гипюра зачем нацепила?

Ой, Зинаида, ой, женщина, лучше б тебе об этом не спрашивать! Пошла, и иди, и иди, куда надо, нет, не утерпит, и вполоборота, в умирающую щель ужалит, куснет, унизит, обидит.

- Постой-ка, - сказала Александра.

Зинка уже закрыла дверь, но услыхала что-то невнятное,отворила, просунула в комнату вопросительный блин лица. Блин перестал быть вопросительным,стал удивленным и подозрительным,ткнувшись в смеющееся лицо с бело-мраморными глазами и напоровшись на тихий смешок.

- Ты что-то сказала? - спросила Зинка.

- Ага, - сказала Александра.

- Так что же?

Тихий смешок продолжался.

- Ты не молчи, - сказала Зинка, - а то я спешу, еще много дел.

Тихий, жуткий такой смешок.

- Так я пойду, - сказала Зинка.

Тихий жуткий смешок оборвался. Зинка устала держать голову много дальше всего тела и шевельнулась слегка за дверью, отчего голова дернулась, будто хотела сбежать к телу.

- Ты, видно, знаешь? - спросила Александра с большой неразборчивой улыбкой.

- Чего знаю? - спросила Зинка.

- Зачем я надела эту кофточку, - уточнила Александра.

Зинка пожала плечами за дверью,и голова ее снова дернулась.

- Не убегай, - сказала Александра, - зайди-ка лучше сюда в комнату.

Зинка зашла и уже открыто пожала местами, где были плечи. А почему не просто - плечами, а потому, что ее руки начинались сразу от блина, расходились прямыми линиями и оканчивались пальцами.

- Откуда я знаю, - сказала Зинка. - Если не к Ване на день рождения, то откуда тогда я знаю.

- Знаешь, - сказала Александра и улыбнулась еще неразборчивей. - Я ведь ответила: не собираюсь, - а ты взяла и спросила о кофточке.

- Я пошутила, - сказала Зинка, которой не нравилась улыбка под белыми мраморными глазами.

Снова тихий жуткий смешок.

- Не отпирайся, ты все знаешь.

У Зинки затикал кусочек спины чуть пониже левой лопатки.Там у нее частенько тикало."Может, лучше сказать, что знаю, - подумала Зинка, - а там выкручусь. Мало ли что я могу знать".

- Ну, знаю, - сказала она.

- Так. - Александра убрала улыбку. - Кто же тебе об этом сказал?

- Да мой Ванюша, - сказала Зинка.

- Ванюша? - Александра помолчала. - А что, он очень дружит с Донатом?

- Да самые первые друзья! - воскликнула Зинка не хитря, поскольку на самом деле так думала: так часто захаживал к ним Донат, так часто Иван, уходя из дому, объявлял, что идет к Донату, а что их сближало, так то неважно, это ее не занимало, выпьют, потреплются, что же еще, главное, после встреч с Донатом Ваня был умеренно выпивши, а иногда и совсем не выпивши.

- Вон оно что, а я и не знала, - сказала раздумчиво Александра. - Так, а когда он тебе сказал?

- Когда? Да на днях, когда спать ложились.

- Давно на днях?

"Что-то скрывает,- подумала Зинка, - как бы узнать, вон как боится, надо бы как-то ее успокоить, пусть убедится,что мы только знаем, Ваня, да я, а там и расколется".

- Господи, что я тебе мелю, какое на днях, да вчера только, вчера перед сном он мне и сказал; сегодня я ужас как извертелась, и за неделю так не навертишься, вот и подумала, что на днях.

- А ты кому успела сказать?

Зинка картинно всплеснула руками.

- Успела! Да мне по нужде было некогда, чуть у плиты не обмочилась, все утро терпела, а ты - успела.

- Ну ладно, - сказала Александра. - Ты никому не рассказывай, с Ваней я переговорю, а что касается Доната... Ладно, - она махнула рукой. - Хлеба, сардин и чего там еще я потом сама принесу. Вот посижу и принесу.

И она отвернулась к окну.

В кружеве листьев кружево неба. В кружеве неба ее Донат. Голос Доната в магазине...

- Так ты,выходит, Доната ждала? - услышала вкрадчивый голос Зинки. Смотрит, а дверь наполовину, и в ней исчезающее лицо с белыми мраморными глазами. В ушах этот вкрадчивый вопрос: так ты, выходит, Доната ждала? Зачем она трогает Доната, что ей Донат, и так ведь знает. Знает, мерзкая, знает тайну, знает самое сокровенное. Ах, Донат, зачем так, Донат, ну почему ты так сделал, Донат, неужто смеялся ты надо мной, смеялся в присутствии Ивана. Господи, это невыносимо. Ах, почему не могу я плакать, было бы легче, ах, почему. А этот Иван рассказал супруге, спать улеглись, и рассказал. Тоже, наверное смеялись, лежали в кровати и смеялись. Эта смеялась. Эта. Кто эта? Зинка. Зинка? Зинка смеялась. Смеялась, и ей, кажется, мало. Ей не хватает смеха. Зинке еще нужно смеяться. Сука. Выходит, Доната ждала. Сука. Она никого не ждала. Просто с утра еще приоделась, чтобы идти к Пшеничкам в гости,чтобы там встретиться с Донатом, села с утра, да так и сидела, глядя сквозь тюль на листья и небо. Сука. Выходит, Доната ждала. Ах ты,сука, ну погоди.

- Постой-ка, - сказала Александра пропадающему лицу. - Да заходи ты, закрой дверь, я хочу тебе что-то сказать.

Зинка проворно вдвинулась в комнату, блин аж дымился от любопытства.

- А то я слышала ненароком одну любопытнейшую вещь, - сказала с улыбкой и смешком белоглазая продавщица. - Ты же знаешь, как в магазине: тот что-то скажет, этот заспорит, третий добавит, и тэдэ.

Так и сказала: и тэдэ, - а после "тэдэ" расхохоталась и засверкала белым мрамором.

Зинаида поддержала, таких всегда лучше поддерживать, но - она ведь была женщиной, полом с повышенной чувствительностью - но интуитивно насторожилась.

- Ты Антонину, наверно, знаешь?

- Это какую? - спросила Зинка.

- Ну да Мишкину, тракториста.

- Знаю, а что?

Тихий смешок.

- А то, что она при всех в магазине Лильку назвала проституткой. Ну Лильку, библиотекаршу. Вчера это было, под закрытие, а в магазине стоял парторг, ну и попер на Антонину: как,мол, не стыдно, она активистка, она член бюро, мать-одиночка, грязная сплетня, таких, как ты, надо подвешивать за язык или дотла уничтожать. Это, сказал, еще исправимых можно воспитывать и улучшать, а таких, как ты, Антонина, надо выпалывать, как сорняк. А Антонина, ты ее знаешь, на дыбы и на всю округу: ах ты такой,да отборным матом, продажная шкура, вонючий козел, лучше б кальсоны чаще стирал, мимо пройдешь, рыгать хочется, это бы вас, как сорняк, повыпалывать, было б зачем ходить в магазин, да и харкнула ему в морду. Тот аж будто кровью облился, вот-вот родимчик его хватит, стоит и пыхтит разинутым ртом. А Антонина его пуще прежнего: ты, мол, ее потому защищаешь, что больше никто с тобой спать не хочет, только такая и согласится. Тот попыхтел - и бегом на улицу. А Антонина как заводная, стоит посреди и машет руками, будто с трибуны речь произносит, и без всякого микрофо-

на так орет, что лампа качается и линейные стекла звенят: эту, мол, падлу библиотекаршу надо в шею гнать из деревни, может,она сифилитичная, вон какая вся недоношенная, не иначе больна по наследству или из города привезла, с библиотекарской конференции, я, мол, дойду до политбюро, до генерального секретаря, а добьюсь,чтобы эту падлу материнства скорей лишили. Мне воспитательница рассказывала, сыну ее скоро три годика, а ручки и ножки еле шевелятся. Ходит, как кукла заводная. Дернет, поднимет,дернет, опустит, шагнет, остановится, отдохнет, шагнет, остановится, отдохнет, бледненький весь, почти просвечивается, и ничего не говорит, мычит, как немой, как идиотик,и воспитательница говорит, что Игорек идиотик и есть, так и останется недоразвитым, будет в школе для дураков. Ей бы, падлюке, больше с сыном,больше внимания и ласки, нет, в пятидневку его столкнула,чтоб большевистской пропагандой и проституцией заниматься.

Тут Александра замолчала, устав от своей непрерывной речи, и тихо сидела, глядя на Зинку белыми мраморными глазами.

- Интересно, - сказала Зинка. - Так парторг, говоришь, бегом?

Тихий смешок, улыбка и мрамор.

- Да, ты напомнила мне про Ивана, - начала медленно Александра. - Ради него и рассказала, что приключилось вчера в магазине, да заболталась и не заметила, как упустила самое главное.

Зинкины уши стали торчком, а сердце заныло от предчувствия.

- Что про Ивана? - спросила холодно.

- А то, что твой Ваня - лилькин любовник, это вчера Антонина сказала...

Зинка схватилась за левую грудь.

5

До домика Лильки было сто метров. Но что такое всего сто метров для Зинки, узнавшей, что Иван унизил ее, оплевал ее,втоптал ее в грязь, и все это знают? Так что же такое всего сто метров для жаждущей страшной мести женщины? Ничто, разумеется. Ничто. Ницше сказал, обобщая себя: тело твое есть высший разум. Этим он смог обобщить всех. Высший разум одной женщины требовал высшего наказания высшему разуму другой женщины. Один высший разум сжег сто метров, чтоб уничтожить другой высший разум. И содрогнулся, и закричал, и бросился вон от страшного зрелища, увидев свой приговор исполненным самим приговоренным.

На грохот двери, на вскрик,на топот выглянул тощенький бледный ребенок в трусиках, майке, с заспанной рожицей. Мать висела под потолком, на месте сорванного абажура. Мать показывала язык и делала страшные глаза. Ребенок тихонько замычал, всхлипнул - это он так смеялся, и пошел к играющей матери, дергая тонкими бледными ручками, не сгибая кривых ножек, как заводная мычащая кукла, которая вот-вот упадет.

6

- Убью эту тварь! - прорычала Зинка и бросилась вон с тяжелым топотом.

А Александра усмехнулась, прикрыла дверь, вернулась к кровати и унеслась сквозь кружево листьев в голубые осколки неба.

Там, среди стен ее магазина, стояли, ходили человечки с белыми мраморными глазами и исчезающими лицами. Дверь отворилась, вошел человек, сказал "добрый день",и она улыбнулась. Какой симпатичный естественный голос, свежий приятный баритон, глубокая умная интонация. Вошел и сказал просто "добрый день", но будто вложил всего себя в эти два слова.

С тех пор, как она себя проплакала, способность чувствовать человека по тому, как он говорит, в ней обострилась чрезвычайно. Вошел и сказал просто "добрый день", но в этих двух обычных словах она, насыпая манку в кулек и наблюдая за стрелкой весов, не оборачиваясь на голос, с виду, не слыша его вовсе,костлявая, длинная, некрасивая, с глазами, заросшими будто бельмами, войдешь и подумаешь: вот продавщица из кондовой русской глуши, - она услыхала в этих словах воспитанность, чуткость, ум,доброту, рассеянность, юмор, открытость, достоинство, безграничную широту, нежность, ласковость, жалость, мудрость, непримиримость к злому, продажному, деспотичному, мелкому, подлому, лживому,грубому, ограниченному.

В голубых предзакатных осколках впервые вошел он в магазин, а это случилось полгода назад, и громко, глядя сразу на всех, сказал "добрый день". Все обернулись и откровенно стали пялиться на него. Она не выдержала лавины, скатившейся с двух слов человека, который, она уже знала по слухам, приехал к ним из самой столицы, будет учителем английского, будет жить в том же домишке, в котором жили три выпускницы областного пединститута, присланные к ним по направлению, но сбежавшие после трех месяцев. Тех прислали, и то сбежали,а этот приехал добровольно. Все удивлялись тому и гадали, и сочиняли разные слухи, вплоть до того, что его выслали за тунеядство или политику. Она ощутила почти физически, как после слов "добрый день" учитель английского будто разросся до потолка и до всех стен. Ей стало тесно и душно,и страшно, она уронила совок с манкой и убежала в заднюю дверь. Долго стояла, прижавшись к мешкам, слушала быстрое гулкое сердце, будто в груди у нее пролегала деревянная длинная улица, по которой галопом скакал чем-то взволнованный сильный конь.

Потом полгода его не видела. В голубых предзакатных осколках девочки-школьницы рассказали, что учитель упал под обрыв с лошади, как-то сложно сломал руку, был в больнице, вернулся в гипсе, что они ему помогали, приносили домой продукты, готовили пищу, мыли полы.

И вот в голубых предзакатных осколках учитель сам пришел в магазин, сказал "добрый день", и она улыбнулась очень нежно и очень радостно:

- Поправляетесь, Донат Васильевич?

- Ага, поправляюсь, - сказал учитель. - А вы как здесь поживали?

- Скучали по вас, Донат Васильевич.

Он посмотрел в белый мрамор глаза.

- Тогда почему не заходили?

- Да неловко, Донат Васильевич.

Он засмеялся.

- Всю жизнь неловко. Только в гроб ловко ложимся.

- Верно, - откликнулся грузчик Листопадов, ворочавший ящики в глубине.

- Лучше вы ко мне заходите, - сказала Александра. - А я вас чайком попою.

- Чего чайком? - встрепенулся старик, полдня дремавший на подоконнике. - После чая мужик не мужик. Чай расслабляет и в сон клонит. Ты его водкой – глядишь, будет дело.

- Водкой - верно, - сказал Листопадов. - Только после водки и дело. Без водки Россия пропадет.

Донат положил на прилавок пятерку.

- Пожалуйста, экстру и стаканы.

Она подала четыре стакана, один в другом, в пыли и соломе, поставила экстру на прилавок.

- На сдачу российского, - сказал Донат.

Она нарезала российского. Донат отделил стакан от стакана, вытряхнул соломинки, скинул пробку и разлил всем поровну. Куда понятней, но трое других не стронулись с места, а чинно, жеманно ждали отдельного словца.

- Приглашаю, - сказал Донат.

Старик, громко крякнув, ловко, как юноша, соскочил с подоконника. Листопадов поправил ящик и крупно направился к прилавку. Александра засмеялась и с грациозным кивком приняла стакан, протянутый Донатом. Сверху плавали пыль и труха, но это ей почему-то понравилось.

- За то, чтоб Россия не пропадала, - сказал Донат. Стаканы сошлись с незвонким, расслоенным, треснутым звуком. Грузчик, старик, продавщица, учитель медленно, вкусно выпили водку за то, чтоб Россия не пропадала. Молча заели российским сыром.

- Хорош сырок, - промолвил старик.

- А я еще, - сказала она и отслоила от головки несколько жирных длинных пластов. Старик опять восхищенно крякнул.

- Не думал, не гадал, а на праздник попал.

- Что за праздник с одной бутылкой, - сказал Донат и полез в кошелек. Огромная лапа Листопадова перехватила тонкую кисть.

- В счет аванса, - сказал Листопадов.

Александра достала водку и указала глазами на дверь. В этот момент, словно там ждали, дверь отворилась и всунулась бабка. Но Листопадов уже шагал, бабка исчезла за крупным телом, звякнул тяжелый кузнечный засов, Листопадов вернулся, а бабки не было, только за дверью визгливый лай. Они без тостов повторили.

- А российский всегда хорош, - сказала розовая Александра. - Вон советский лежит да лежит, а этот берут да разбирают.

- В советском нацмены понамешаны, - сказал Листопадов и сам отрезал огромный мерцающий ломоть.

Старик достал из кармана пятак и обрушил его на прилавок:

- На, старуха, а больше нету.

Александра достала бутылку, смахнула донышком пятак.

- Я угощаю, - сказала спокойно.

Старик ударился лысым лбом о темный истершийся прилавок, в голос, всхлипывая, зарыдал, грязными скрюченными пальцами рванул полукружье седых волос.

- Брыкову хватит, - сказал Листопадов, легко поднял старика под мышку и отнес его в заднюю дверь. Вернулся пустой, уставил в Доната бледный бесстрастный бешеный взгляд и повторил:

- Брыков отпраздновал.

Донат швырнул недопитый стакан в мутный светящийся колпак. Звон стекла. И тишина.

Тихо внутри. Тихо на улице. Тихо в домах. Тихо в лесу. В тихой средней глухой России тихо спал на мешках старик, тихо качались пьяные вдрызг грузчик, учитель и продавщица.

7

Ей стало плохо. Она побежала. Споткнулась об ящики. Упала. Вырвала и поползла по рвоте в темную щель задней двери. Легла рядом с Брыковым на мешки. Вырвала рядом на мешки. Провалилась в тяжелый сон.

В голубых предзакатных осколках она возвращалась, мутная, грязная, не замечая никого, шла,как ходила уже пять лет из пункта М в пункт Д. Разделась донага; верхнее, нижнее сваляла в один клочковатый комок и запихнула его в ведро, а сверху прихлопнула звонкой крышкой. Сцедила всю воду из рукомойника на лицо, шею и руки, утерлась и уже через силу заползла под одеяло.

В голубых предзакатных осколках над нею склонялся человек.

- Кто? - спросила она человека.

Он не ответил, склонился ниже. Ей показалось, она младенец, лупится вверх на чье-то лицо и ничего не понимает. Такой беззащитной, такой беспомощной она ни разу еще не была. Нет, была, когда пришла с кухни и увидала, как папа и мама странно смотрят друг мимо друга, странно откинув седые головы, странно зияя черными ртами; села на пол, смотрела на них и ничего не понимала. Вцепилась пальцами в одеяло и натянула на подбородок.

- Кто? - спросила она исчезающее белоглазое лицо.

- Живая, - сказал человек - Донат.

- Донат? - не поверила ушам. - Да как же, о Господи, - Донат!

- Выпей, - тихо сказал Донат. - Будет легче.

Послушно выпила. Сморщилась, охнула, улыбнулась.

- Легче?

В ней начиналась музыка.

- Как ты пришел ко мне, Донат?

- Крыша, труба, печь, и вот я.

Она засмеялась. Какая музыка!

- Как хорошо, что ты пришел!

Ноги ее просились в пляс.

- Ох, Донатушка, как хорошо!

- Выпей еще, - сказал Донат.

Выпила, выпила еще. Выпила, выпила бы все, что бы ни дал ей милый Донат.

- Я тоже был пьян, - сказал Донат.

- А Брыков,а Брыков, - сказала она и засмеялась,как невеста.

- Слушай, - Донат наклонился ниже, - что случилось с твоими глазами?

- А что? - она поиграла глазами. - Оригинально спать с белоглазой?

- Я не об этом, - сказал Донат.

Милый Донатик. Она засмеялась. Он обежал ее глаза пальцами.

- Ты родилась такой белоглазой?

- Я некрасивая, Донат?

- Или какая-то болезнь?

- Зачем ты спрашиваешь об этом?

Он погладил ее волосы.

- Я влюбился в твои глаза.

- Что?! - согнулась в тугое кольцо. - Это плохая шутка, Донат.

- Это не шутка, - сказал Донат.

- Подай мне халатик, - сказала она.

Он протянул.

- Отвернись.

Отвернулся. Она спустила ноги на пол,надела халатик, застегнулась, направилась к рукомойнику.

- Ну, я пойду, - сказал Донат.

Она подбежала к двери раньше, набросила крюк, повернулась к нему.

- Что, я настолько некрасивая?

- Не в этом дело.

- А в чем?

Он сбросил крюк и тихо вышел.

В голубых предзакатных осколках бесслезно рыдала в подушку женщина. Из-под халатика голо торчали длинные, тонкие, костлявые, сбрызнутые будто ржавой водой, никому не нужные женские ноги.

Александр Мигунов уже несколько лет живет в Соединенных Штатах. Это первая публикация его прозы на Западе.

Иосиф Бродский

Я ПИЛ ИЗ ЭТОГО ФОНТАНА

* * *

Я пил из этого фонтана
в ущельи Рима.
Теперь, не замочив кафтана,
канаю мимо.
Моя подружка Микелина,
в порядке штрафа,
мне предпочла кормить павлина
в именьи графа.

Граф, в сущности, совсем не мерзок:
он сед и строен.
Я был с ним по-российски дерзок,
он был расстроен.
Но что трагедия, измена
для славянина,
то ерунда для джентельмена
и дворянина.

Граф выйграл, до клубнички лаком,
в игре без правил.
Он ставит Микелину раком,
как прежде ставил.
Я тоже, впрочем, не в накладе:
и в Риме тоже
теперь есть место крикнуть "Бляди!",
вздохнуть "О Боже".

Не смешивает пахарь с пашней
плодов плачевных.
Потери, точно скот домашний,
блюдет кочевник.
Чем был бы Рим иначе? гидом,
толпой музея,
автобусом, отелем, видом
Терм, Колизея.

А так он - место грусти, выи
склоненной в баре
и двери, запертой на виа
дельи Фунари.
Сидишь, обдумывая строчку,
и, пригорюнясь,
глядишь в невидимую точку:
почти что юность.

Как возвышает это дело!
Как в миг печали
все забываешь: юбку, тело,
где, как кончали.
Пусть ты последняя рванина,
пыль под забором,
на джентельмена, дворянина
кладешь с прибором.

Нет, я вам доложу, утрата,
завал, непруха
из вас творят аристократа
хотя бы духа.
Забудем о дешевом графе!
Заломим брови!
Поддать мы в миг печали вправе
хоть с принцем крови!

Зима. Звенит хрусталь фонтана.
Цвет неба - синий.
Подсчитывает трамонтана
иголки пиний.
Что год от февраля отрезал,
он дрожью роздал,
и кутается в тогу цезарь
(верней, апостол).

В морозном воздухе, на редкость
прозрачном, око,
невольно наводясь на резкость,
глядит далеко -
на Север, где в чаду и в дыме
кует червонцы

Европа мрачная. Я - в Риме,
где светит солнце!

Я, пасынок державы дикой
с разбитой мордой,
другой, не менее великой,
приемыш гордый, -
я счастлив в этой колыбели
Муз, Права, Граций,
где Назо и Вергилий пели,
вещал Гораций.

Попробуем же отстраниться,
взять век в кавычки.
Быть может, и в мои страницы,
как в их таблички,
кириллицею не побрезгав
и без ущерба
для зренья, главная из Резвых
взглянет - Эвтерпа.

Спасибо, Парки, Провиденье,
ты, друг-издатель,
за перечисленные деньги.
Сего податель
вновь инструмент перебирает,
и славит лира
Рим, чьи руины выпирают,
как ребра мира.

С холма, где говорил октавой
порой иною
Тасс, созерцаю величавый
вид. Предо мною
не купола, не черепица
со Св. Отцами:
то - мир вскормившая волчица
спит вверх сосцами.

И в логове ее я - дома!
Мой рот оскален
от радости: ему знакома
судьба развалин.
Огрызок цезаря, атлета,
певца тем паче
есть вариант автопортрета.
Скажу иначе:

Усталый раб - из той породы,
что зрим все чаще -
под занавес глотнул свободы.

Она послаще
любви, привязанности, веры
(креста, овала),
поскольку и до нашей эры
существовала.

Ей свойственно, к тому ж, упрямство
Покуда Время
не поглупеет, как Пространство
(что вряд ли), семя
свободы в злом чертополохе,
в любом пейзаже
даст из удушливой эпохи
побег. И даже

сорвись все звезды с небосвода,
исчезни местность,
все ж не оставлена свобода,
чья дочь - словесность.
Она, пока есть в горле влага,
не без приюта.
Скрипи, перо. Черней, бумага.
Лети, минута.

февраль 1981

Дмитрий Савицкий

ВАЛЬС ДЛЯ К.

Поэма

Всем, кому это было под силу, - с любовью.

Д. С.

В траве сидело много людей, и трава росла вокруг них. Насекомые гладили многих по коже. И тут кое-кто полетел. Все по-разному. То как Сапгир, то как Елена, то как Лимонов. Или судорожно, как другие.

Э. Лимонов "Золотой Век"

Мечта этих жалких отщепенцев, соблазненных дешевой пропагандой Запада, - оторваться от родной почвы.

Из газет

* * *

Я зашел к Николаю Петровичу просто так, без всякой цели. Был лиловый, наполненный высоким дрожанием вечер. Весна уже вовсю хозяйничала в Москве. По крайней мере, старые улочки Сретенки были пьяным-пьяны. Девушка с веточкой вербы попалась мне у самых его дверей. Она и сама была как эта веточка: распушенная, зябкая, сама из себя выглядывающая. Я постучал в грязное окошко - Николай Петрович жил в Луковом переулке, в коммунальной квартирке, в кривобокой комнатке в конце мутно-желтого коридора. Коридорчик валился набок, половицы скрипели и норовили куда-то выпрыгнуть, лампочка была отвратительно голой, и запах там был многих лет совсем не счастливой жизни. Кислый, угрюмый запах...

У Николая Петровича был кот: громадный,совершенно черный котофей. Снимая его откуда-нибудь со шкафа, Николай Петрович, он же Коленька или Никуша, обычно говорил: "У этого кота вес дорогой колбасы".

Открывая дверь,я уже знал, что мурлыка трется спиной об этажерку, сыплет бенгальские искры, ждет, мерзавец, чтоб ему почесали за ухом. Там у него солиднейший шрам - драчун он,этот славный котофей.

Николай Петрович сидел в рыжем пятне света. Пыльный дореволюционный абажур с кисточками низко висел над столом. Комната Николая Петровича для непосвященного напоминала книжный склад. Все, кроме маленького островка вокруг стола и вечно разобранной постели за драной ширмой, было заставлено книгами. Конечно, был шкаф, были полки, был падающий накрененный стеллаж, но это было как бы нормально. Николаю же Петровичу места не хватало, и весь пол был заставлен стопками, пирамидами,башнями книг. Между этих завалов по узенькой тропиночке вслед за хвостом котофея я и прошел к столу. Неловко волочить за собою описание,но стол был как бы уменьшенной копией комнаты: свободные островки, тропиночки, а остальное было занято бумагами, вавилонами писем, вифлеемами каких-то даров, передвигать которые категорически возбранялось. Николай Петрович протянул мне через стол свою худую,очень бледную руку. "Здравствуйте, Охламонов, - сказал он совсем не московским голосом. - Хотите чаю?"

Двигался он в своих папирусных джунглях замечательно: пригнет плечико, чтобы не сшибить криво высовывающийся последние полгода фолиант сапожника Якова Бёме, перескочит возле окошка через связку детских сказок и вот уже включает старинную спиральную плитку,тычет ножом в проводки, льет из графина запасливую воду в кружку - на кухню он не выходит, терпеть не может. Дело в том, что Коленька, Никуша, грустного, а скорее затемненного,что ли,вида человек лет около тридцати, - поэт. Однажды он вышел на коммунальную кухню за чепухой: спички или соль - и, к несчастью, попал в скандал, самый обычный, когда размахивают руками, говорят обидные слова, трогают за плечо и так далее. И Николай Петрович совершенно, как он сказал, потерял *строчку*. Начисто. Он просидел над пятном бумаги всю ночь, но убитая строчка не вспоминалась. С тех пор варил он чай и картошку на подоконнике в комнате.

Больше всего неприятностей ему доставляли женщины, особенно случайные. Они приходили в совершеннейший восторг от его комнаты, задавали один и тот же идиотский вопрос - что-то вроде "а где можно записаться в эту библиотеку?.." - и пытались что-нибудь вытянуть из-под самого низа, так что Николай Петрович, зеленея, бросался спасать наклонившуюся башенку восточной поэзии, готовую не только засыпать тропинку, но и сбить еще пару таких же соседних строений. "Ах, Бога ради, не трогайте!" - кричал он, и дамы обычно останавливались. Их удивлял тон его голоса, они чувствовали, что это серьезно. "Я очень боюсь, - объяснял он им, - неизвестных перемещений". Николай Петрович - и в этом вся суть - все эти книги *прочел*. И абсолютно точно знал, где какая книга лежит.

* * *

Поднимая глаза от этих строчек, я, может быть, должен был бы извиниться за некоторую расплывчатость и соскальзывание, но само время тогда было замутненное, многое еще не проявилось, и сам воздух, как тромбами, был забит всеми этими "как-то", "где-то" и "вроде бы". Мало того: и будни, и праздники были изрешечены пулеметными очередями многоточий. Мы жили, не довоплощаясь.

* * *

Вода пропела свою короткую песенку и была влита в грязного цвета чайник. "Охламонов, - попросил хозяин, - умоляю вас, не двигайте ничего на столе..." Я не обижался. Фраза была ритуальной. Я лишь однажды придвинул поближе из-под грота каких-то бумажек маленький портрет женщины с высокой трудной прической и затуманенными глазами. Лицо было совсем не здешним, такие не попадаются на наших улицах. Я засмотрелся - в тот раз мы поссорились.

Николай Петрович, высоко поднимая ноги в опасных местах,тропиночкой вернулся к столу и поставил на островок подносик. Не глядя, он нырнул рукою куда-то назад и вытащил две серебряные стопочки. Водка же была под столом. Теплая, конечно... Мы,молча раскланявшись, тяпнули. Кот, прекрасно знавший, что́ можно и чего нельзя, с мягким стуком вспрыгнул на стол. Косяя на хозяина глазом, он попробовал лапой бумажный наст, ему разрешалось, выпустил, потягиваясь, турецкие свои когти и наконец улегся. За стеною кто-то взял фальшивый гитарный аккорд. Слышно было, как переулком промчалась скорая помощь. "А у меня были, знаете ли, проблемы с Катенькой, - сказал хозяин, - все же она слишком молода для меня. Она бесится! Она, Охламонов, в прошлый раз так хохотала в постели, что упала! И конечно, прямо на Карамзина! Был кошмар - вся история русской империи скособочилась и рассыпалась. Но это что, Охламонов, это чепуха... У нее, право,кровь играет. Я пополз приводить все в порядок, конечно, как был, нагишом. Так эта милая сумасшедшая, мой друг, она, знаете ли, как вам объяснить, она на меня накинулась прямо на книгах! прямо на русской истории... Я думал, она шутит, а потом увидел - глаз у нее, если можно так сказать, как губа, закушен: туманный и серьезный. И мы, знаете ли, на русской истории, и она, как всегда, в крик..."

Николай Петрович опять стал разливать водку. Лица я его не видел. Оно взошло куда-то, скрылось за кисточками абажура, опушенными седой многолетней пылью. Но рука в разлохмаченной чистой манжете крупно дрожала. "У меня же и так конфликт с соседями, - продолжал хозяин, - она же знает! Я столько раз просил: Катенька, не могли бы вы в этот последний момент как-нибудь сдерживаться?.. Она обижается. Говорит гадости. Плачет даже... И все равно кричит! Я бы, знаете, хотел бы ее подушкой, что ли, накрывать. Так к сожалению, я сам ничего не соображаю - проваливаюсь во что-то совсем другое. А глаза открою и тут же понимаю: она кричала!.. Ну, что тут будешь делать?" И Николай Пет-

рович стал нервно теребить свою бородку. Была она у него совсем китайская - просвечивала насквозь.

* * *

Катеньку я видел несколько раз. "Случайные" дамы тогда совсем исчезли. И помню,в первый же вечер сердце мое кувыркнулось. Тогда я еще не знал, что у них с Николай Петровичем бессмертная любовь. Что в ней поражало? Не знаю. Можно сказать - все. Было ей чуть больше шестнадцати, и вот, пожалуй, я нашел: поражало в ней сочетание детской чистоты и совершеннейшего блядства. Увидев меня под абажуром, она, помнится, прямо при Коленьке сказала: "Охламонов, ты знаешь, что я никогда (это "ниииикогда - ее первый подарок, сплошные взмывающие "и"), никогда не ношу ничего под?" И совсем по-балетному закружилась на опушке между Гоголем и медицинской энциклопедией, вся загорелая под легким платьицем, без всяких там стыдливых полосочек... Николай Петрович тогда повел щекой, словно у него зуб с дыркой, и стал смотреть в стол. Я же совершенно покраснел, и меня бросило в такой жар, что голова,как это нежное платьице, закружилась тоже. "Катя, - сказал тогда хозяин, - я прошу вас перестать". А потом поднял ко мне лицо и совсем тихо добавил: "Охламонов, если она начнет вас трогать, не обращайте внимание. У нас с ней бессмертная любовь".

* * *

Мы допили водку и принялись за чай. Николай Петрович покупал чай на черном рынке. Он вечно что-то смешивал,пересыпал,принюхивался. "Чай, - говаривал он, - нужно заваривать плюющимся кипятком. Запомните это, мой друг. Но главное, выдержав его минут пять, немедленно пережениты!" И я смотрел, как,не капнув ни разу, Николай Петрович занимался "пережениванием". Для этого он отливал из чайника полную чашку густой,кирпичного цвета заварки и быстренько, экономя рвущийся из-под крышечки пар,вливал обратно. Обряд был закончен.

Иногда он спрашивал: "Охламонов? Хотите стихов?" И отказаться было бы убийственно, впрочем мне всегда нравилось то, что он писал. Катенька обитала в его строчках последнее время. Но запомнить его стихи я не мог. Лишь однажды пристало раз и навсегда что-то вроде:

Ночь стоит за окном в старом черном пальто нараспашку.
Снег течет ей на плечи, на жалкую сонную грудь...

Впрочем, не берусь утверждать, что удержал эти строчки в сохранности.

* * *

"Как ваша жизнь? - спросил хозяин, - отсняли что-нибудь новенькое?" Надо сказать, что я фотограф. Не такой,как где-нибудь на Петровке, в фотоателье: "Поднимите подбородок. Не моргайте. Щелк. Два рубля. Щелк. Три двадцать в кассу". Нет. Я снимаю жизнь. Как она есть. В неприбранном виде. Конечно, это воровство. Но не вуаерство. Однажды одна дама из колючих умниц сказала

мне: "Вы вуаер, Охламонов,вы вечно подглядываете. Вот вы и сейчас смотрите на меня и думаете, какая я там, за пуговицами..." Это была совершеннейшая неправда. Я не согласен. Вуаер лезет через дырку в заборе, отодвигает штору на окне. Я же снимаю лужи после дождя, пьяниц на Тишинском рынке, людей на эскалаторе метро,листья опавшие в парке... И если в этих листьях мне попадается чье-то голое колено - так это же судьба... Я же не знал, что там парочка. Меня интересовал вид заброшенной аллеи. Да к тому же, я чаще всего работаю телевиком - он сплющивает пространство, смещает что-то, из банального каждодневного устраивает сон. Что касается той дамы, то пусть ее расстегивает кто-нибудь другой. Я бы, будь на то моя воля, пуговиц бы прибавил. Хоть это и жестоко.

* * *

- Что нового? - отвечал я, - право же, не знаю. Вот предлагают взять ученика... Нет ли у вас сахара?

Спрашивать сахар к чаю, я имею в виду к чаю, который заварил Николай Петрович, было чем-то вроде преступления. Но что делать? Я ужасный сластена. Например, когда мне грустно или нехорошо, я покупаю шоколадный торт "Отелло", который всегда есть в нашей булочной, и съедаю его за один раз, ложкой, стоя у окна, разглядывая всегда одно и то же - трамвайную остановку. В "Отелло", между прочим, четыреста пятьдесят граммов.

- Ученика не советую. - Николай Петрович встал за сахаром. - Замучаетесь. У меня вот были два начинающих поэта. И знаете? Один ставит худшие слова в наилучшем порядке,а второй наоборот: наилучшие в худшем. Если бы они были сиамскими близнецами...

- Я понимаю, - взгрустнул я: ученик - это все же дополнительные деньги, - но я в последнее время чувствую себя как-то смутно, как бы это сказать - вот когда объектив на морозе вдруг запотеет и ни черта не видно...

- Да? - хрустнувшим голосом спросил Николай Петрович, - вот и я *тоже*... - И он,привстав,опять же вслепую потянулся на верхнюю полку за сахаром и пристально на меня посмотрел. - Со мною, Охламонов, происходит что-то странное. Раньше я думал, что это ловушка возраста, тупик. - Он говорил все медленнее и вдруг совершенно явственно стал приподниматься в воздухе и повис сантиметрах в двадцати от пола. Я видел его старый чемодан под кроватью! Николай Петрович, я боюсь сказать, *шаловливо* раскачивался, прочно вися, и разводил виновато руками... Самое странное, что я воспринял это без удивления. Лишь сердце дало перебой, да где-то сбоку кот соскочил со стола и помчался к окну...

- Это совсем не сложно, Охламонов, - сказал Николай Петрович, опускаясь. Я взял из его рук сахарницу. Глаза его улыбались. - Хотите, я вас научу?

* * *

Через месяц, когда уже вовсю цвела черемуха, мы отправились с Николай Петровичем за город. Электричка была битком набита, и мы стояли, тесно зажатые, в тамбуре. Какой-то дядя уже раза два наступил мне на ногу. Когда на Чистопрудной народу прибавилось

и меня совсем прибило к толстяку, я, оглядевшись,чуть-чуть приподнялся над заплеванным полом и завис. Николай Петрович,куривший кислую папиросу, тут же дернул меня за рукав: "Не дурите, - сказал он, - мы же договорились".

Первые уроки были сплошным сновидением. Я выслушивал Николай Петровича, пытался уразуметь хоть часть его слов, смотрел, как он внутренне собирается, как пробегает легкая судорога по его лицу, как отрывает он первый миллиметр, как легко идет выше... Я слушал его терпеливые повторы, когда он, по-шагаловски лежа в воздухе, рассказывал мне о соотношении воли и тела, о внутренней, а не внешней точке опоры. Я пытался нащупать что-то внутри себя, абсолютно слеп, проваливался, соскальзывал,упирался во что-то зловещее, надорванное, выныривал в свет рыжего абажура, под пытливый взгляд учителя. Он менял тему, рассказывал мне о Гоголе, о Булгакове, он укладывался на воздухе, на сизых слоях табачного дыма с томиком "Мастера и Маргариты", полы его пиджака болтались надо мною, из дырки кармана сыпались сигаретные крошки или звонко выскакивала монета, и читал странным своим голосом страницы полета Маргариты, стремительные, под углом атаки наклоненные строчки.

- Она,Охламонов, - говорил Николай Петрович, - была ведьмой. А это совсем другая опера. Если хотите, они летают совсем в другом качестве. И не то чтобы у них другая *техника*, они просто в *другом* двигаются. Такая красавица пролетит тебя насквозь,и обычно отделаешься головной болью или радикулитом... Но вот он, автор, слышите, Охламонов? Он знал про это гораздо больше, чем написал... А уж Гоголь и подавно...

В первый раз я с каким-то стоном не приподнялся, а выскочил в воздух - я так сильно ударился в потолок, что с полчаса лежал на рассыпанных книгах в обмороке. Николай Петрович, бледный,напуганный, стоял надо мною с мокрым полотенцем, а потом сидел на корточках, отирая с моего лица известковую пыль, пудрой запорошившую все вокруг.

- Голубчик, - сказал мне учитель, когда я немного пришел в себя и смог потрогать мягкую солидную шишку на голове, - я же вас предупреждал! одно ложное волевое движение - и вы выйдете в эфир не физически, а психически. Ваша астральная пуповина не выдержит, и вы больше не вернетесь в тело. Вы меня не только огорчите, но и поставите в дурацкое положение. Что мне прикажете делать с вашей оболочкой? Соседи, милиция, прокурор с откормленной ряшкой... Весь этот бред... Поймите, я *не* приглашаю вас путешествовать в астрале; давайте обойдемся без вульгарного оккультизма, без коктебельских штучек... Я вас учу простой вещи: ле-тать!

Мы сошли на маленькой станции, опушенной свежей зеленью. Дорога тащилась через еще пустой дачный поселок, выбегала в поле и спотыкалась о лес. Сосновые иглы мягко пружинили под ногами. Вскрикивала от удара ногой консервная банка - расплескивая бывший снег, криво летела в кусты. Лес кончился. Подожженная вечерним солнцем,плоско лежала река. Если присмотреться, она вся ходила желваками, крутила воронки, по секрету убегала в густеющую даль. Мы прошли краем жирно распаханного поля; невдалеке отхо-

дила ко сну деревенская церковь. Малиново полыхал крест. Вокруг не было ни души; был тот час суток, когда от реальности остается лишь дрожащий вопросительный знак.

Николай Петрович выбрал росистую уютную лужайку,скрытую кустами орешника.

- Охламонов, - попросил он, - не увлекайтесь, не летайте высоко. Помните, что я вам говорил. Особенно опасны линии высоковольтных проводов. И большие пространства воды. И не бойтесь ничего. Если вы хоть на долю секунды по-настоящему испугаетесь,вы понимаете? Это будет конец!.. - Николай Петрович поправлял, нахлобучивая поглубже, свою весеннюю шляпу. - Просто,не волнуясь, ложитесь на воздух. Взлетать стоя всегда труднее. Да и для сосудов нехорошо... Ложитесь и ничего не бойтесь!

Я наклонился вперед. Между мною и первой травой с проклюнувшимися уже, неизвестного цвета цветами была упругая живая сила. Я лег. Я просто лежал очень низко над густо пахнущей землей и раскачивался. Я мог повернуться на спину. Я мог бесформенно,как носовой платок, взмыть вверх одним рывком. Я мог проваливаться, словно откупоривая дыры в воздухе, в любом направлении. Скосив глаз, я увидел Николай Петровича, все еще стоящего на лужайке. Подбадривающим жестом он рисовал в воздухе круг. По спирали,захлебываясь уплотнившимся дыханием, я пошел вверх. Шляпу моего учителя качнуло и отнесло в сторону. То, что я испытывал,с трудом можно было бы назвать радостью. Это был полет,освобождение, слезы, застилающие расширяющийся взор, волосы, сошедшие с ума; это была новая жизнь - в миг став старше, ничего не потеряв, я навсегда заразился каким-то недоступным ранее знанием.

Николай Петрович летел чуть ниже и сзади меня. Пальто его разметалось. Руки были растопырены. Я понял,что он страхует мой первый взлет. Церковь, лесок, поляна, поле, река - все стремительно уменьшалось, проваливалось, ложилось набок, вставало дыбом. "Хорошо, Охламонов, - кричал Николай Петрович, - очень хорошо! Я вами доволен..." И хотя вечерело все быстрее и внизу разгорались грустные огоньки поселка, край земли все еще вздымал клубы золотого света. Я вынул из кармана, неловко кувыркнувшись, перчатки. Все же наверху было слишком холодно. Лето лишь начиналось.

* * *

Возвращались мы в полной тьме. Николай Петрович, намотав на руку мой шарф, разрешил долететь до самой станции. Он выбрал этот подмосковный район по простой причине: рядом была какая-то секретка, опутанная колючей проволокой, - вышки, рельсы, прожектора, - и никакие самолеты здесь не летали.

Знаете, что такое возвращаться на землю? Я стоял, раскачиваясь, в сыром мраке; к ногам был приделан огромный свинцовый шар.

Чуть позже мы сидели на станционной скамеечке. Вместо сердца была какая-то каша. "Вы, мой друг, - говорил Николай Петрович, и потрескивающая папироска высвечивала его отсутствующее лицо, - сожгли сегодня адреналина на пятилетку вперед. До следующего вторника я запрещаю вам даже домашние упражнения". И мы

заговорили о пустяках: о ключах, которые теперь нужно, конечно же,как-то пришпиливать, о ветках ночных деревьев,способных просто так выколоть глаз, о телевизионных антеннах, совсем некстати выныривающих из упругой ночи.

* * *

Кто вернет мне те невероятные месяцы? Если вливать в воздух шампанское, так чтобы само пространство в итоге радостно опьянело, пошло колючими пузырями... нет, не умею объяснить. Был момент, когда казалось, все рухнет. Не то чтобы я разучусь,вовсе нет, об этом не могло быть и речи. Катастрофа надвигалась в наземной жизни, нависла, все перепутала и вдруг рассыпалась,взорвалась ночной грозой, обернулась смешливыми колокольцами - Катенька переметнулась ко мне. Да-да! Появилась однажды после завтрака, с настороженной улыбочкой, с кожаным древним саквояжем, стала в дверях и сказала: "Охламонов, я пришла жить с тобою!" Не к тебе, а с тобою... Я брился, и все выглядело по-идиотски: полщеки, занесенных снегом, вытаращенный воспаленный глаз,опасная бритва на напрягшейся шее, Катенька, на которую я смотрел через зеркало - вещь, которой я, кстати, очень боюсь... "Но как же Коленька?" Я наскоро утирался полотенцем совсем,знаете ли, не первой свежести. "Он меня к тебе отпустил,- сказала Катенька. Она смотрела на меня прямо и вещей своих на пол не опускала. - Он сказал, что давно это предвидел, что даже так лучше..." Я сделал жест, словно нырял в поклоне. Она еще серьезнее посмотрела на меня, еще куда-то глубже, может быть даже в какой-то другой день, и не поставила свой саквояжик, а просто разжала пальчики: буф! все шлепнулось на пол. "Охламонов, - сказала она, - ты живешь,как анахорет, ты живешь,как тень Коленьки. Тебе нужно довоплотиться". И она повела головкой. Мне стало стыдно моей квартиры, грязных обоев, разбросанных вещей, неделю уже не убранной посуды на письменном столе. Слава Богу, шторы были чуть отдернуты - я редко открывал окна, вечно или проявлял, или печатал.

Секунду простояв в полуобмороке, со звоном в ушах,я бросился было лихорадочно подбирать вещи, и от одного моего прохода полукругом закровоточил весь этот мшистый ералаш, но Катенька, все еще странная, все еще чужая, подошла вплотную, так что груди ее укололи, прожгли меня, - я был в то утро как-то еще не одет, вернее весь расстегнут, - и сказала то, чего я совсем не ждал: "Ты будешь снимать меня голой? да? совсем-совсем?" И не дожидаясь ответа, зависая, вся закручиваясь: "Он меня тоже научил. Он такой гениальный! Он сказал, что только меня и тебя. Что только мне и тебе". И она как-то совсем по-другому, я боюсь сказать: по-женски, потому что если вы никогда этого сами не пробовали, вы меня засмеете, поднялась к веревочкам, на которых сушились пленки вчерашних этюдов.

* * *

Ночью ворочался сухой окраинный гром. Картавил. Играл в свои кегли. К полночи тьма загустела, свернулась тревожным клубящимся молоком. Лимонные молнии втыкались совсем как попало. Хлопали окна. Тополь внизу за окном трясся в ознобе. Хлынуло.

Хлынуло так, словно всю жизнь собиралось прорваться. Щедрый, нездешний потоп.

* * *

У меня сохранились фотографии того периода. Когда однажды, уже в Париже, в припадке тоски я показал один снимок маститому профессионалу, он долго разглядывал, морщился, сыпал сигарой на ковер, попросил негатив... "Я отдам вам половину рэевской премии, - изрек он в итоге, - если вы объясните мне, как это сделано". Я развел руками. Что я мог ему объяснить? В комнате, насквозь пробитой солнечными лучами, среди навсегда-таки утвердившегося беспорядка - разбросанных книг, косо прикнопленных портретов, веревок с ее бельем и моими пленками, в комнате, где на шкафах еще жили не снесенные в комиссионный серебряные сахарницы и уцелевшие от дипкорпуса иконы, - в воздухе лежала, раскинув руки, чудесная, совершенно голая Катенька. Ее волосы - она только что тряхнула головой - золотой кометой раскручивались в воздухе того, до изнеможения счастливого дня. Никакого трюка не было.

В столе лежал большой пакет наших московских фотографий: Катенька в ванной, лежащая плоско, как на сеансе факира, один сосок сбился и подсматривает в объектив; рядом с нею в плаще и шляпе стою я (камера работала на автоспуске) и держу за шею змею душа - искристые нитки конусом летят вниз, капли на ее коже все еще не слизнуло время... Катенька в лесу, в сатиновом платьице, в остром пике тянущаяся за смазанным ветром цветком; шмель в роскошной не по сезону шубе пришелся ей ровно на запястье - жужжащие лесные часики. Или вот Катенька в лунную (снимал при большой экспозиции) ночь; какая-то совсем уже астральная, словно намокшая светом полнолунья; на снимке она размножена на прозрачные голубые движения - кульбиты, повороты, шелковистые мелькания локтей и колен.

Я не могу этого вынести - я имею в виду описания не снимков, а отмененных календарем дней... Мне лучше бы сжечь все однажды.

Метр, почетный председатель многих конкурсов и комиссий, думая, что приятно выведет меня из транса, забыв уже про половину своей фотопремии, предложил купить для журнала "Глаз" этот московский снимок. Он даже предложил сумму, в несколько раз превышающую любые мечты. Но я отказался. Я не мог не отказаться. Снимок теперь лежал на столе на кипе фотографических журналов. Черно-белая Катенька со слезою пупка, с прозрачной опушкой всегда как бы воспаленной дельты, Катенька, глядящая так реально, так пронзительно реально, что я чувствовал слабость во всем теле, - Катенька отныне была недоступна.

* * *

Но возвращаясь назад, сверху падая в то цветочное лето, я вижу нас двоих, совершенно счастливых, молодых, не то чтобы красивых - она бесспорно была красавицей, - а с печатью наших совместных полуобмороков. *Теперь* я вижу тот самый перст судьбы с обкусанным ногтем, воткнувшийся в те дни, как дорожный указатель (нынче, ерничая, я все думаю, когда же наступает тот момент, ко-

гда к указательному подбираются остальные четыре брата и вся семейка сворачивается в тяжелую фигу?), потому что все детали той жизни, вся обстановка тех дней словно вышла из повиновения и немоты и кричала, разинув рот... *Нынче* мне кажется, что если люди в том обществе были заморочены, вывернуты на огрубевшую сразу свою изнанку (вот она, сумасшедшая чувствительность той жизни!), а значит, изнутри подбиты сереньким партийным драпом, нынче мне кажется, что мы *размагнитились* одними из первых.

* * *

Боже! она была баловница. Сколько раз мы делали это в воздухе. В первый же - стены, ломая прямые углы, кинулись нас ловить, лопнула струна подвешенной криво картины, и та съехала, навсегда, вниз, бутыль пьяной вишни отправилась на пол со шкафа, грохнулась, но не разбилась, ссадина на моей спине не заживала неделю - это створка окна, улучив момент, врезалась между лопаток. Нужно было учиться уважать лампу, помнить о гвоздях, нужно было умудриться в итоге не грохнуться на заставленный банками, чашками, кофейником подоконник. Однажды ночью мы заснули обнявшись в ужасающей духоте, и я проснулся не знаю через сколько прошелестевших минут, чувствуя ее всю, нежно меня оплетающую, жаркую, влажную, - проснулся от резкой тревоги. Секунду я ничего не соображал, лишь где-то близко вспыхивали и гасли смертельно яркие капли, да возле шеи что-то царапалось и терлось. В такие мгновения самое трудное разобраться, где верх и где низ. На мое счастье, бритвочка месяца резала жирные полуночные тучи. Снизу раздался корявый скрежещущий звук и брызнуло снопом электрических искр. Я рванулся прочь, сжимая ее, просыпающуюся - это была улица, нас вынесло через окно, мы почти лежали на проводах трамвайной линии.

С той ночи я натянул сетку на окно, но скоро мы перестали спать в воздухе: осень была стремительной, с ледяными затяжными дождями, одеяло, как ни старались мы в него завертываться, соскальзывало, а потом в конце вспыхнувшего рыжим пожаром бабьего лета грянул однажды проклятый телефон, и мы узнали, что Коленька арестован.

* * *

Слухи, что в стране появились люди, умеющие взлетать, появились как-то сами собой. Первый раз я услышал о летунах в очереди. Давали каменных, пенсионного возраста кур. Две бабы, совершенно скифские, но запрятанные в ватные пальто, качали головами и выдували пузыри довольно-таки странных фраз. Услышав - "...и он, прости Господи, как взмоет в небо", - я придвинулся поближе. Рассказчица мелко крестилась, товарка ее, с раз и навсегда поджатым лицом, однообразно кивала головой. "И летит он, Маня, как ангел! Народ, конечно, бежит... Милиция, знамо дело, за левольверы, стрелять, а он уж выше памятника-то Пушкина... А один, совсем в гражданском пальте, как пальнет с двух рук - и попал! Подбежали, а он уж не дышит. Ну, увезли, конечно... Изучать. Может, не наш какой. С виду-то, Мань, обычненький. Летит над зонтами. В брюках. Семеновна, из бакалеи, говорит, что даж ботинок с дыркой..."

Я разволновался. Но слухи наползали со всех сторон. Городская молва по привычке наградила летающих старинным геройством. Судя по рассказам, один залетел в ломбард напротив прокуратуры и на глазах у обалдевшей толпы унес полную кепку золота. Про другого рассказывали, что он вынес двадцать пять тысяч рублей в ассигнациях через открытое окно писательского дома в Лаврушенском. Окно, говорили, было на шестом этаже. Дура-домработница открыла проветривать и трепалась по телефону.

Слухи множились, и однажды в кафе на бульваре, куда я ходил с целью подцепить что-нибудь свеженькое, мне повезло. Двое молодых людей, пересыпая разбавленную портвейном речь фразами вроде "адекватно, старик", "я не из суггестивных" и особенно мне запомнившимся "а у них в семье давно уже бермудский треугольник", принялись обсуждать причины появления летающих людей. Конечно, сейчас все это звучит как пародия, как помесь куриной слепоты с дальнозоркостью, но в те времена я еще воспринимал тексты впрямую. "Старик, - говорил первый, - это не массовый психоз, организованный Лубянкой, чтобы отвлечь народ байками от ситуации. Нет. Люди, загнанные в колоссальнейший социальный тупик, без всякой возможности выхода взрывом, начинают мечтать о сверхреальном. Пожалуйста, рождается идея левитации. И это не в первый раз. Вспомни Индию, летающих сфинксов Египта, наконец, библию... История уже проходила через подобные периоды. Людям нужны надежды, фантазии, они оскоплены, старина, карлмарксовым ножом материализма... Они хотят вернуть себе божественную природу. Быть как ангелы... Начинается мечта о полете!.. Наливай..." Второй был мрачнее: "Какие мечты? Чего ты несешь? Геолог на Урале, сбитый вертолетом, - это мечты? Пьяная компашка, не желавшая расплачиваться в ресторане останкинской телебашни и смывшаяся через окна, - это тоже мечты? А нарастание информации, учащение случаев - это что? Я тебе скажу, все это звучит более чем реально". "Брось, - нападал первый, - современный миф обрастает современными деталями. Совы сублимируют свою тоску в подвернувшемся имедже... А уж позже все уплотняется до пуговиц, до конкретных деталей". "Старик! - взрывался второй, - а реакция властей? Она однозначна! Думаешь, все эти референтские группы и исследовательские центры глупее нас с тобою?.. Наливай... У них уж точно информация получше нашей. Они, я думаю, относятся к слухам более чем серьезно. А пулеметы на крышах? Идиот! А телекамеры, задранные теперь вверх? Я не гнилой мистик, но представь себе, что мы действительно мутанты. Нас проволокли, старик, через отвратительно жестокий период истории. Естественно, что жизнь не видит выхода из этого передового тупика. Мир без всяких там хохм действительно подошел к концу. И божественная, в чем я с тобою абсолютно согласен, природа подбрасывает нам что-то новое! спасительное!.. Наливай... Что большее чудо: то, что мы ходим, или - летаем? С точки зрения рыбы, разницы нет. А рыба - это, прости, не сверх, а реальность!" - И он ткнул алюминиевой вилкой в тарелку с треской: был четверг. "Может быть, участившиеся случаи левитации это и есть высшая форма социального развития, к которой общество - еще по-маленькой - приходит через дремучий коммунизм?" "Иди ты

знаешь куда! - не выдержал вдруг первый. - Ты несешь уже ахинею, как какой-нибудь мудак с кафедры марксизма-мудаизма! Если я с тобою в чем-то согласен, так это в том, что людям все осточертело... И если они и вправду начинают летать, так это с тоски и отчаянья..."

Я слушал их пьянеющий разговор в слошной испарине. Глаза мои совсем расфокусировались и плавали в цветном тумане. Мне многое стало приоткрываться. Я ведь никогда глубоко об этом не задумывался. Была секунда, когда это стало моей жизнью, повседневностью, даром... Я ничего не чувствовал иного, кроме простой возможности упруго двигаться в воздухе. Это была моя (и Катенькина, конечно) секретная свобода. И все!

Они почувствовали меня. Разом обернувшись, оба как-то потемнели,и первый - очкарик с кривой бородой - фальшиво сказал: "А она ему сама предложила. В парадникe. Дома у нее муж. Как всегда, вдребезень..."

Меня они приняли за стукача.

Уходя из кафе, спиною чувствуя их взгляды, я приподнялся в дверях, повисел малость, чтобы они успели проморгаться, ткнул дверь и вылетел прочь. А чем еще я мог им помочь?

* * *

Вдоль Садового кольца ветер гнал сухие скорчившиеся листья. Лужи подмерзли. Вечерняя толпа тяжело неслась вдоль по улице, кружилась серыми воронками, выплевывая потерявших ритм одиночек. Тяжело стоял, расставив сапожища, усатый милиционер. Тяжело взбиралась в автобус молодая еще женщина. Тяжело дышал на углу,отдыхая вместе с громадной,набитой пустыми бутылками авоськой, седой алкаш. Даже пацан из породы воробьев, с рассопливившимся носом, тяжело отрывал от асфальта свои маленькие слоновые ножки... О, если бы на секунду выключили в середине нашего счастливого шарика генератор земного притяжения. Если бы по пятницам вдруг разрешено было терять вес. Я увидел пустые ущелья улиц и рябое от летящих небо... "Стыдно, - сказал я сам себе, - стыдно, Охламонов, проваливаться в несвоевременный сентиментализм". Я свернул к Никитским воротам. В проходняшке около музыкальной школы углем на стене было крупно написано: "КОМУ - НИЗОМ, КОМУ - ВЕРХОМ".

* * *

Звонок грянул темным заболоченным днем. Катенька пела в ванной. Ее маленькие постирушки, ее умение хозяйничать без натуг и проблем - вызывали во мне восхищение. Я подошел к телефону. Голос не назвался, но я мгновенно понял, что это коммунальный коленькин сосед, старый хрыч, отставной мудак в чине капитана. "Вашего-то умника, - прогнусавил он, - бумагомарателя забрали куда надо!" И мокро хихикнул...

Это было началом конца. Я не знал еще ничего, но вдоль спины ударила ветвистая ледяная молния.

* * *

Не нужно было быть Спинозой, чтобы догадаться, что Коленьку взяли не за писание стишков, хотя и они были отнюдь не безобидны. Позднее так и выяснилось: дворничиха, штатная ведьма, заглянула вечерком в окошко и увидела Николай Петровича, отдыхающего *над* столом. Он дремал, несчастный, раскрытая книжечка в руке грозилась соскользнуть вниз, слово сдержала и с мягким стуком упала. Коленька проснулся и вниз головой нырнул за изменницей. Дворничиха отпрянула от запотевшего окна и, сжимая, как древко знамени, растопыренную метлу, бросилась звонить куда надо. В куда-надо давно уже существовал исследовательский центр, занятый проблемами как-надо. Что-то вроде НИИ Сверхреальности... Николая Петровича увезли незамедлительно. Говорят, рядом шли два тяжеленных толстяка, скованных с бедным поэтом браслетами - на предмет полета.

* * *

Зарубежные радиостанции на русском языке тоже наполнились невероятными новостями. Би-Би-Си сообщило, что из дипломатических кругов в Москве стала известна недвусмысленная обеспокоенность ЦК ситуацией в стране. Диктор так и заявил, что появление перелетчиков впрямую связано с недовольством и желанием миллионов людей обрести свободу. "Голос Америки" теперь передавал ежедневную пятнадцатиминутку "Крылья свободы", уверяя, что население СССР наконец выходит из периода слабоволия, ослепления и унижения насилием и готово разлететься по всему миру. Ходили слухи, что Вашингтон провел секретные переговоры с союзниками о количестве возможных перелетчиков и методах их адаптации. Предлагалось наконец-то реализовать замороженный в конце семидесятых годов проект создания плавучих искусственных островов. ЦРУ подсчитывало процент потенциальных агентов, внедренных в массу перелетчиков, но оккультный центр имени Суоми Вивекананды в предместьях американской столицы немедленно сделал заявление, что ни один ортодоксальный прислужник режима не будет способен оторваться от земли хотя бы на толщину партийного билета. Западная Германия, не участвуя в спорах, начала строить огромный палаточный лагерь. Около границ стран-сателлитов на ночь теперь зажигались стрелы-указатели. Франция разорилась на цветную иллюминацию в половину парижского неба - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Все эти странности просачивались через хронический бронхит моего старенького приемника, но ни одного сообщения об удачном перелете пока не было.

* * *

В январе мы почти не летали. Стало слишком опасно. Да и трудно было в шубах и шапках подолгу оставаться в метельном воздухе. Катенька быстро уставала, снег слепил глаза, нас могли заметить даже в лесу. Катя предложила сшить белые костюмы. Это было бы чудесно, но денег-то у нас почти не было...

* * *

Грянули крещенские морозы. В день Татьяны я точно узнал, где держат Коленьку. Зашел в Луков переулок, соседи с испуганной ра-

достью показали мне опечатанную дверь. Я представлял себе алый сургуч, герб страны наподобие генеральской пуговицы, но вместо этого была полоска бумаги и линючие синие печати. Обыска не было - слишком много книг. Их, говорили, отдадут теперь Ленинской библиотеке. Забрали лишь бумаги со стола да, как ни странно, кота. Насчет кота, впрочем, я не верю. Соседи давно норовили его укокошить. Жалко котофея... Коленька обвинялся внешне в обычном - в нарушении общественного порядка, хотя формулировочки вроде "отрыва от действительности" уже проскакивали. Держать его могли лишь в камере или в лагере с какой-нибудь специальной сеткой. Но и это, в конце концов, было непроходимой чушью. От него хотели лишь одного - как?

* * *

Я ручаюсь за Коленьку. Уверен, что никакие нейролептики не смогли помочь вытянуть из него те, самые простые, но невероятно глубокие объяснения, которыми он раз и навсегда изменил мою жизнь весною. Коленька был мягок, как воск, любвеобилен, даже нежен, но он, как все, ненавидел происходящее, даже не ненавидел, а биологически не принимал.

Теперь-то я понял, что значили его с Катенькой вдогонку присланные слова - "так будет лучше"...

* * *

Пошли слухи, что страну закрывают всерьез, что налоги будут повышены, водка опять вздорожает, даже цены на китовое мясо будут удвоены, а военный бюджет резко увеличен с целью реализации колоссального проекта: что-то вроде накрытия страны одним гигантским стеклянным колпаком. Были споры об ультрафиолетовых лучах, фотокинезе, всех этих вещах, связанных с солнечными лучами, дыханием и прочим. Мой приятель, летчик гражданской авиации, сказал совершенно наверное, что западные границы уже патрулируются специальными сдвоенными самолетами, несущими километровую сетку. Заговорили о проблеме птиц. Запад тоже заворочался совсем по-другому. В НАТО стали опасаться, что советская армия освоит опыт летунов и война примет совершенно иной характер. Возможность совершенно новой и ужасающе конкретной изоляции миров становилась все более реальной. Хотя для меня, дальше Таллина никогда не бывавшего, все было один черт... В эти стремительные, растрепанно мелькающие денечки мне и попала в руки довольно сумбурная статья профессора Погорельцева.

* * *

Катенька принесла ее от портнихи, чей муж был кем-то вроде подпольного букиниста, что-то там размножал - Солженицына, Баркова или Штайнера. Он сам переплетал и довольно недорого продавал. От него к нам попадали всяческие новинки, на ночь, на две - рассказик Набокова или статейка диссидента. В обычной жизни букинист служил лифтером.

Катенька сшила себе чудесное хулиганское платьице, в котором, впрочем, нигде не могла объявиться. Объясню, почему. Один знакомый переводчик принес нам как-то приглашение в парк Соколь-

ники на международную выставку пива. Выставка была закрытой, лишь для специалистов, и попасть на нее было трудно. Но конечно же, мы нашли с Катенькой в павильоне всех наших знакомых: и чердачных художников, и подпольных поэтов, и знаменитую мадам Касилову, держательницу полуночного салона, и актеров с Полянки, и даже посла республики Бурунди.аккуратно объявлявшегося на всех вечеринках неофициальной Москвы. К выставке мы шли через огромный заснеженный парк. Был ранний вечер, быстро темнело, сугробы были совершенно синими. Бесчисленные аллеи парка были залиты под каток - километры чудесного катка. Народ шел и падал, падал и шел. Смеялись, ругались и опять падали. Катенька тоже оскользнулась, упала и ушиблась. Так глупо было идти, смешно перебирая ногами, когда ничего не стоило просто взять и полететь. Меня как-то потрясла тогда эта явная глупость передвижения... Внутри павильона каждая страна устроила бар. Такого мы еще не видели: уютно, чисто, играет невидимая музыка, красавицы в фартучках обносят пивом, ни одного мусора, я имею в виду - в форме. Публика была из наших и ихних. Наши - волосатые, в протертых джинсах, в свитерах, а ихние - из министерств и комитетов - тяжелые, костюмные, с маслянистой ненавистью в глазах. Пили они километрами, тяжело пьянели и приставали, ни черта не понимая по-иностранному, к грудастым барменшам. Один,с оттопыренной нижней губой и партийными бровями, говорил приятелю: "Переведи, я ей дам два кило икры... Ну, четыре..."

Немцы просто поставили в павильоне старинную пожарную машину. Она вся сияла красным лаком и надраенной медью. Бочка с насосом была полна крепчайшим мюнхенским пивом. Голоногая лахудра в золотой каске угощала нас горячими сосисками. Тянуло на путч.

Катенька раскраснелась и шалила. Подсвеченная карнавальными вспышками цветных прожекторов, она, стоя напротив в лоскуты пьяного комитетчика, то взмывала на легком сквознячке, то скромно соскальзывала вниз. Лицо ее визави наливалось темной кровью, огромной лапой он хватался то за сердце, то за стену. Я не сердился. Никто другой ее не видел.

Но когда выходили в совершенной тьме, кое-где разорванной фонарями, а потом шли по скользкой аллейке мимо ревущих на ветру флагштоков, я тоже не выдержал и, наскоро взлетев метров на десять, замерзшими руками добрых полминуты отвязывал от мачты двойной американский флаг. Катенька хлопала в ладоши и вертела головой во все стороны. Я благополучно спланировал со свертком под мышкой, и мы бросились искать такси, от нетерпения то и дело отрываясь от черного накатанного льда. Старый одессит обещал вмиг домчать нас до дома,мы разомлели и лежали,запутавшись друг в дружке, а он шпарил анекдотами без просветов, сам себе отвечая прокуренным хохотком. На пустых улицах и площадях седыми клочьями завихрялась поземка. Казалось, город закипает.

В ту ночь мы приобщились к западной демократии,постелив пропахший снегом и чуть влажный флаг в постель. Утром, когда зимнее солнце брызнуло рыжим сквозь голые ветви тополя, когда Катенька позвала меня пить кофе, я, задергивая кровать драным ватным одеялом, увидел среди звезд и полос маленькое пятнышко там, где она спала,- у Катеньки тогда были месячные.

* * *

Так или иначе, смеха ради она сшила себе из флага длинное шуршащее платье. Представляете себе - отправиться в таком в Большой или консерваторию?

Вернувшись от портнихи, взлетая то выше, то ниже перед подводным нашим зеркалом, съеденным не то ржавчиной, не то временем, она сказала: "Четвертого июля пойду на прием к америкашкам. Пусть мне отдают честь военные атташе..." "Осторожнее со словами", - хмыкнул я. "Ах, да, - она заломила руки за спину, ища молнию, - там в сумочке статейка этого... Погорельцева... который ходит в церковь на Соколе..."

Профессор Погорельцев, отсидевший в свое время лет пятнадцать, автор проскочившей в печать скандальной книги "Между страхом и страхом" (кстати,очень быстро изъятой из всех библиотек), официально занятый проблемами культуры тибетского плато, писал, что эпоха Христа-Рыбы кончилась в середине шестидесятых годов и наступившая эпоха Водолея должна была найти новую символику воплощения. Все мы это знали: знаки Зодиака, восходящие против часовой стрелки; волхвы, последние представители джинов и алладиновых ламп у колыбели Христа; новая звезда над ними; очередное двухтысячелетие; Водолей - "человеко-ангел"... Но никто не знал, как это начнет сказываться. Профессор считал, что появление летающих людей закономерно, что это не случайность, что не нужно бояться, что страну действительно закроют - он имел в виду стеклянный колпак,- и играл словами: "нас уже невозможно *околпачить*". Но главное, Погорельцев писал, что "и за кремлевской стеной кое-кто уже начинает отрываться от вощеного паркета,что скоро-скоро, может быть, мы станем свидетелями необычайного события, когда над недобрыми для века звездами Кремля пролетит черная фигурка серого кардинала и стрелки курантов на Спасской башне покажут совсем новое время..."

Статья разволновала левую интеллигенцию. Надежда на приступ очередной либерализации залихорадила Москву. Редактор наиболее читаемого подпольного ежемесячника "Зеркало" послал письмо правлению "Нового мира" с предложением объединиться на пороге новой жизни. Художник Одноглазов выставил в Манеже огромное полотно: Пушкин, Достоевский, Гоголь, Суворов, актер Смоктуновский, даже Василий Васильевич Розанов - все слетались с разных сторон клубящегося неба к храму Василия Блаженного. Катенька сказала, что похоже на шабаш.

* * *

От всезнающего приятеля, как я уже упоминал,я получил адрес сто раз секретного института, где, по моим соображениям, и должны были держать Николай Петровича. В часы пик, когда улицы бурлили угрюмыми толпами, я с деланным видом бодро гулял теперь рядом с безликим зданием. Опять была весна, в сером людском веществе вдруг проскакивала улыбочка, на освободившихся от снега тротуарах приятно шаркали подошвы, пахло солнечной пылью,и откуда-то издалека налетал на город тревожный мягкий ветер. Первые этажи заколдованного дома были забраны гранитом. Окна держали солид-

нейшие решетки, но выше они исчезали, а самый последний этаж с бортиком сплошного балкона и тупыми мордами телекамер был весь распахнут - ловушка для идиотов. Конечно же, внизу, напротив подъезда скучала серая волга с четырьмя мордоворотами внутри. На двери подъезда висела скромная,из черного с золотом вывеска "Комитет вибраций". Люди, входившие и выходившие из этих дверей, были либо мышино непримечательны, либо лихорадочно воспалены. Уже через неделю я выделил из общего мелькания сотрудников одно смятое, но все же остаточно приятное лицо и, чуть было не совершив роковой ошибки, отправился вслед за вельветовым пиджачком, устало ввинтившимся в толпу. В валящемся набок соседнем переулке, заставленном, как отжившей мебелью на распродаже, прогнившими домишками, я уже приготовился произнести сакральную фразу "простите меня", как вдруг не услышал,а почувствовал бульдожье дыхание за спиною и,ничего еще не соображая,свечкой взмыл в чистенькое розовое небо и на огромной скорости полетел прочь. Единственное, что я успел заметить краем заслезившегося глаза, была парочка в надутых ветром плащах на дне переулка,их задранные головы и вытянутые руки. Я давно не летал на открытых пространствах. С отвычки у меня закружилась голова, карниз двенадцатиэтажного дома с чем-то и вправду вроде пулеметного гнезда я проскочил в несколько секунд. Но в жизнь нужно было вернуться так же стремительно, как я из нее выскочил. Круглое слуховое окно одного из сталинских небоскребов спасло меня. Стекла не было, и я влетел, лишь чуть расцарапав щеку. Пахло пылью, и со всех сторон на меня смотрели огромные портреты правителей. Видимо, дерзкий домуправ не выполнял нужных инструкций и хранил не только обязательных номерных тузов, вывешиваемых по праздникам, но и давным-давно вышедших в тираж. Толкая дверь,обитую вековой пылью, выходя на лестницу, я обернулся - кавказский горец давил косяка на своего лысого ниспровергателя.

Уже на улице, оттирая платком кровь со щеки,я увидел, - и в глазах моих потемнело, отвратительно хвостатую стрекозу вертолета, летящую непозволительно низко.

* * *

Через несколько дней я получил по почте скромный лоскуток бумаги, где указывалось,что я должен явиться в одиннадцать утра во вторник к следователю Н., стоял адрес и закорючка подписи. Стоит ли говорить, что адрес был назван тот самый. Я не знал, что делать. Катенька, душистая сумасшедшая Катенька, в последнее время всегда тщательно одетая, подобранная, даже причесанная и надушенная купленными в удачный день в уборной на Петровке французскими духами, Катенька висела в углу, в солнечном пятне, и дым ее сигареты вышивал узоры в обмершем воздухе. Пластинка Вагнера, полет валькирий, только что умерла, и игла занудно ехала по кругу. "Не ходи, - сказала Катенька, - просто не ходи. У них нет права. Ни черта не указано, ни по какому делу, ни в качестве кого, вместо фамилии следователя лишь буква..." Я постоял под нею, поднял лицо, потерся о подол, чмокнул худую лодыжку. Что-то происходило. Мы оба чувствовали это. Что-то уже накатывалось издалека. Я решил идти. Но если Катенька в то время уже подумывала об отлете, я же боялся ее потерять.

* * *

Итак, я пошел. Плюнул на все и пошел. Лишь позвонил все же тому единственному со связями наверху знакомому и объяснил, когда иду и куда. У меня были идиотские иллюзии, что в случае чего он сможет через отца, личного переводчика генсека с бенгальского, мне помочь. Я даже не подумал, как часто встречается генсек с бенгальцами...

Катенька покачалась в дверях, сказала: "Я не прощаюсь, понимаешь?" - и я отправился.

Конечно, я попал в "Комитет вибраций", но с другого входа. И вывеска была другая. Хотите верьте, хотите нет, а было написано, правда на этот раз на картонке, как бы временно, я даже было, как идиот, подумал: для меня! - "ПРИЕМНАЯ ПО НЕСКУЧНЫМ ДЕЛАМ" и какой-то номер. Фамилия следователя тоже кривлялась: Никаков. Имя-отчества не сообщалось. Вахтер, в партикулярном, похожем на военную форму более, чем сама форма, платье, вызвал следователя, предварительно отобрав мой паспорт. Пока он звонил, закрывшись спиной, я разглядывал портрет вождя, стоящего над обрывом - внизу, в долине, морем разливался огромный город. Казалось, еще мгновенье - и вождь или полетит, или же камнем сорвется вниз. Полы его военной шинели уже развевались... Щелкнула стальная дверь, и, издалека прицеливаясь серенькими глазками, накатился следователь. Был он маленький, кругленький, ничего такого, казалось, в нем не было. Косо он держал худенькую улыбочку - в старину так прижимали к лицу лорнет. "Никаков", - сказал он и руки, слава Богу, не подал. У самой двери, на которой горели кнопки номерной сигнализации, он вдруг резко обернулся и лязгнул на меня глазами. Я, естественно, потупился. В мгновение ока он крутанулся назад и что-то там набрал - дверь поехала. Мы шли длинными полутемными коридорами. Пол был устлан темно-вишневым мягким пластиком. Говорят, что когда профессора Погорельцева где-то здесь же немного боксировали, а потом вели в камеру, капли крови вовсе не оставляли за ним тревожного многоточия - ковер все впитывал бесследно.

* * *

В кабинете, усадив меня на жесткий прямой стул, Никаков развалился в кожаном кресле напротив и сразу как-то надулся и вырос. Над ним тоже висел портрет вождя. На сей раз правитель стоял на самом краю кремлевской стены. Далеко внизу текли краснознаменные толпы, в небе было тесно от самолетов. Казалось, еще порыв ветра - и вождь взлетит. Его серый габардиновый плащ уже крылато вздымался.

- Вы догадываетесь, - сказал Никаков, пододвигая сигареты и пепельницу, - почему мы вас пригласили?

Разговор был похож на начало гриппа. Мне было жарко, неудобно в толстом свитере, который я как-то инстинктивно надел утром вместе с зимними носками, хотя уже вовсю зеленел бульвар. Меня перебрасывало в липкий холод, я весь съеживался от более чем странных фраз следователя. Воистину, он обладал неведомым мне искусством из обыкновенного русского языка выстраивать какие-то

зазубренные, ржавые, крючкастые фразы. Они входили в мозг, раздирая его. Я что-то булькал в ответ. "Ваш близкий друг, - говорил Никаков, - Николай Петрович Смоленский, оторвался от масс. Вы понимаете, конечно, что я имею в виду - оторвался? Он, скажем это прямо, хотел возвыситься, Охламонов, вознестись, так сказать, над родной страной, над трудовым коллективом, над партией, между прочим... Это он *так* думал... Теперь он раскаивается, теперь он полностью признал и учел, додумал и вник, протрезвел и проснулся, выяснил и ахнул. - Какой-то механизм в Никакове заклинил, но он дернул мягеньким плечиком, лицо его переехала спазматическая гримаса, и он выправился, все же под занавес малость буксуя. - ...осмыслил и сожалеет, а также проанализировал и сам себя казнит..." Карандашик в пальцах Никакова вертелся во все стороны, но через какой-то равный промежуток своим черным острием нацеливался прямо на меня. "Вы ведь дружили с обвиняемым?" - спросил следователь. "Да, - сказал я, - мы дружили. Я уважал его талант..." Никаков, как дитя, крутанулся в кресле, показал ветчинную лысину, наехал снова. Улыбочка его, как зацепившийся чулок, ползла петля за петлей по чистенькому лицу: "Так можем ли мы из вышесказанного заключить, - он чуть было не сказал "голубчик", - что вы были не только его поклонником, собутыльником, сотрапезником и, может быть, кое-кем еще, что нами пока еще не выяснено... но и, мягко говоря, *учеником?"*

Это было так глупо, что мне вдруг стало скучно, смертельно скучно, как бывало уже не раз этой фальшивой весной. Знаете, когда безостановочно тошнит, на что ни взглянешь... Я чувствовал под курткой нагревшийся бок фляжки - милая моя Катенька засунула мне в непроверенный карман фляжку коньяку. Хотелось, чтобы Никаков пошел, что ли, в уборную или к начальству, а я мог бы выпить... И словно прочитав мои мысли, грянул аппарат со множеством кнопок, на котором было написано "Bell System", и Никаков, что-то туда сказав, пошел к двери. "Я вас оставлю на минуточку", - сказал он.

* * *

Кабинет был отвратительно казенного цвета. Как писал в своих стихах поэт Ошанин - салатного. Коричневая каемка шла выше. На стене было длинное, необычайно горизонтальное зеркало. Окно без решетки, но с бледным штампом треугольничком в углу каждого стекла - такие, говорят, не разбиваются даже от удара табуретом. Стол был тоже пуст, лишь календарь да газета "Правда" с передовицей "Крепче держаться за родную почву". Я встал и размял одеревеневшее тело. Фляжка янтарно светилась, когда я пил перед зеркалом. Что-то равномерно жужжало и тикало непонятно из какого угла. От коньяку ли или оттого, что я перенервничал, меня клонило в сон. Я подошел к окну и прислонился лбом к стеклу. Окно выходило во внутренний двор. Я увидел мостки прогулочного дворика, забранные сверху решетчатой крышей, а сбоку затянутые сеткой. Двое солдатиков курили у тяжелых ворот. Гулил на подоконнике больной, с прогнившим клювом голубь. Стекло было влажным, и я в ужасе отпрянул, сообразив, что в образовании этой сырости участвовало дыхание следователя.

* * *

Никаков вернулся через час. Ничего не сказав, он сел за стол, выдвинул ящик, достал лист стандартной, видимо, анкеты и стал быстро заполнять. Вопросы были теперь сухими, обыкновенными, и я отвечал автоматически. Карандашик мертво лежал на столе. Со двора доносилось сухое топтание и окрики охраны. Жужжание тоже умерло. Во мне тихо закипала очень конкретная ненависть. Никаков кончил писать. "Распишитесь", - сказал он. Я прочел протокол, где значилось, что я дружил с Коленькой, был поклонником его поэзии, но ни в каких его опытах никогда не участвовал. Я расписался. "Поставите печать в соседней комнате. - Никаков протянул мне пропуск. - Вас проводят". Голос его сбился на писк, да и сам он съеживался и уменьшался, словно из него выпустили воздух.

* * *

Я вышел из кабинета и постучал в соседнюю дверь. Внутри была стеклянная перегородка, из окошка кукушкой высунулся человек в белом халате. Протягивая пропуск, я как-то нечаянно глянул внутрь - Боже! комната, соседствовавшая с кабинетом Никакова,была лабораторией. Какие-то пленки розового и серебристого цвета горою лежали на полу, перемигивались лампы, кругло светились экраны. Сбоку по стене шло затемненное горизонтальное окно с отдернутой до половины занавеской - это было зеркало соседнего кабинета! Меня проверяли...

Рука вернула мне пропуск и указала на вторую дверь. Щелкнул электрический замок. Я рискнул и, нагло оскалясь, спросил: "Че? не подхожу?" Белый халат, возвращаясь к пленкам, спиною ответил: "Нам таких грузовиками привозят. Весу в тебе много..."

* * *

И уже внизу, отдавая пропуск в обмен на паспорт, я разглядел на печати меч и два скрещенных крыла, а чуть позже,в метро, до меня дошло и остальное: оставленный один, я должен был в панике проявить себя, как бы почесать запрещенное место, хоть на секунду да потерять контроль, взлететь хоть на миллиметр. "Весу много" - они проверяли,не теряю ли я вес!

* * *

Из того же самиздата, от той же портнихи (Катенька сшила себе золотистое платьице из шелковой занавески, в котором я однажды снял ее на закате висящей грустно над крестом сельской церкви - ее последний снимок в России), приблизительно через месяц, читая шестой слепой экземпляр машинки, мы узнали, что Коленька перехитрил своих тюремщиков, согласился на опыты и,когда его перевели из камеры (высота потолка метр двадцать) в лабораторию размером с ангар, он, освобожденный от всего, кроме проводков датчиков, с высоты в пятнадцать метров рухнул на единственно твердое - стол профессора, все остальное было предусмотрительно обито все тем же вишневым мягким пластиком,и разбился насмерть. В Швеции уже был создан комитет его защиты, радио "Свобода" ре-

гулярно читало его стихи,двое молодых американцев приковали себя наручниками к Царь-пушке в Кремле в знак протеста, но было поздно... В мае, когда промчались первые грозы и расцвел дуб, в "Вечерней Москве" появился фельетон, где Коленька назывался шарлатаном, корыстно обиравшим знакомых, обещая их обучить несуществующему. Кроме прочего, он, конечно же, фигурировал как графоман - статья была подписана известным поэтом.

В самом конце месяца, когда уже вовсю заполыхала по уцелевшим палисадничкам сирень, Катенька уволокла меня за город. Мы уехали далеко-далеко, в наш любимый Никольский лес. Там нас никто не мог увидеть, но она почему-то нежно отказалась сделать это в воздухе, как раньше, а с тяжелой настойчивостью утянула меня в траву. Она сжимала меня сильно,с какой-то новой яростью, ее ноги оплетали меня, а руки почти душили,ее душистый пот,смешиваясь с моим, заливал лицо, и все произошло так сильно,как никогда в жизни.

В тот день мы окончательно решили улететь.

* * *

"В моду, - шутила Катенька, - скоро войдут свинцовые сапоги". Она была недалека от истины. Кое-где сознательные пенсионеры,не дожидаясь указаний сверху (ловлю себя на том,что "сверху" в те времена звучало двусмысленно),развесили плакатики: "ЛЕТАТЬ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ". Уже формулировали новый закон "за антиобщественный отрыв от коллектива",срок заключения и так далее. Даже было сказано, что родители несут ответственность за детей,неважно,если сами они и не способны приподняться над буднями нашей родины.

* * *

Грузины втридорога продавали помидоры на Цветном рынке, откуда-то в город завезли жирные гладиолусы, с официальным визитом должен был приехать премьер-министр Австралии, и по этому поводу по Москве гулял афоризм мэра города, что если во дни визита кто-нибудь полетит, то тотчас же полетят головы - одним словом, была тоска и запустенье, и мы с Катенькой наконец-то взяли два билета на самолет до Симферополя,откуда машиной решено было добраться до Ялты, немножко отдохнуть,осмотреться и,выйдя однажды ночью на увеселительном пароходике в море, навсегда покинуть страну.

Коленькино предупреждение - не летать над большими водными пространствами - конечно, немного пугало, но выбора у нас не было. Западные границы патрулировались теперь серьезно.

* * *

Знаете, что такое Ялта ночью? Нет, не та советская, вдребезину пьяная, дерущаяся, пропахшая дешевыми духами и маслом для загара Ялта! Другая. Немая, уменьшающаяся, ложащаяся набок далеким потухающим костром. Город, из которого столькие бежали... Последняя память, приправленная опереточными шутками...

Была безлунная душная ночь. У меня был детский,накануне купленный компас. Как я боялся, что стрелка соскочит с иголки...

* * *

Я опять возвращаюсь к снимкам тех лет - черно-белым, конечно: цветная пленка с Запада попадала ко мне редко, платить за нее нужно было какие-то бешеные деньги. Вот Катенька несет по воздуху поднос с кофе - тяжелый бабушкин поднос. Ей трудно, и поэтому ее голенькая фигурка задрана ногами вверх. Я вижу два холма ягодиц и нежно стекающие груди. Волосы не расчесаны,а как-то криво заколоты сбоку. Ее пушистое лоно до сих пор вызывает во мне судороги... Катенька под речным мостом, в руке она держит свернутый трубкой журнал и дудит в него, как архангел. Катенька вверх ногами в нашей квартирке: волосы совсем залили лицо, платьице тоже упало вниз, лишь ноги фонтаном бьют вверх.

У меня есть особенный снимок, он потрясает меня особенной грустью - Катенька отодвигает штору: зимнее окно, снег на ветках, воробей, хилое солнышко, провода... Она в стареньком халате. Держит его у горла рукой. Словно что-то душит ее. Иногда я думаю, что уже тогда она знала, что случится.

Самое удивительное в этом снимке то, что Катенька стоит на полу.

Я тянусь к спичкам.

* * *

Как мы добирались до Парижа - отдельная история. Мы больше не устраивали перелетов. Лишь Турцию мы пересекли в три жарких ночи, до краев наполненных густым стрекотом цикад. Американский консул в Афинах выдал нам наши первые западные документы. Конечно, нами заинтересовались, но мы разыгрывали несложную пьеску с надувной лодкой,пресной водой и резвой фортуной. След этой идиллической лжи тянулся за нами еще несколько лет по всем префектурам Европы. Я довольно-таки быстро продал с дюжину снимков французскому агентству,получил аванс - это, кстати, и решило выбор страны: остаток нам обещали выдать по приезде в Париж - и мы робко бросились тратить огромные для нас деньги. Снимки,замелькавшие уже через неделю на обложках толстых журналов, были из тех, что я делал всю жизнь: улицы, люди, в основном люди. Лишь несколько последних я сделал с высоты - это была Москва накренившаяся, коловшаяся злыми шпилями своих карликовых небоскребов, тяжело проваливающаяся гробницами административных зданий.

В Париже мы жили скромно, с какой-то веселой грустью. Что-то навсегда было влито в воздух наших отношений, какое-то количество несмертельного, как я думал, яда. Я старался не слушать новостей из России, не покупал газет, но, воленс-ноленс, журналы с моими публикациями подсовывали комментарии советской жизни, и меня частенько тошнило, как в кабинете Никакова, - были они явно или скрытно на 99 процентов просоветскими.

Натекли какие-то деньги. Катенька арендовала узенький пенальчик на одной из улочек Les Halles. Почти все она мастерила сама, сама возилась с закупками и вскоре открыла крошечный магазинчик "Chez Katy", где все, буквально все было одного темно-вишневого цвета. Я имею в виду блузки, сахар, панталоны,теннисные ракетки, наливки, сапоги, свечи, стаканы, даже пирожные и печенье. Месяц магазин впустую разевал свою пасть, а потом покупатель пошел валом - моя Катенька стала очень модной,и на ули-

цах замелькали одноцветные катенькины девицы. Меня радовал ее успех, но, честно говоря, пугал цвет.

Однажды на шумной вечеринке,устроенной знаменитым критиком, к которому художники всего мира съезжались на коммерческий поклон, мы стояли с Катенькой на балконе. Была она в легоньком платье, и ее голые руки, боюсь сказать: молитвенно, сжимали бокал шампанского. Неожиданно она заговорила о Николай Петровиче, о его библиотечной комнатке, а я смотрел вниз через решетку на струящийся далеко внизу в ранних сумерках Монпарнас. Речь ее заливала меня чем-то тяжелым, и я уже хотел ее остановить,когда услышал: "Он дал нам это как дар, и это стало нашим спасением, и мы больше никогда даже не пробуем... Хотя бы чуть-чуть..." Она, уже перегибаясь, вернее, переливаясь через решетку балкона, соскальзывала вниз. Дальнейшее ворвалось мгновенно: я увидел, как ее крутануло по спирали, как она цветным комком со шлейфом платья пронеслась вниз, как охнула рябая толпа, сразу превратившаяся в аккуратный круг... Почему я бросился на лестницу к лифту? До сих пор я не знаю...

* * *

Похоронили ее на Сент-Женевьев-де-Буа. Там, где окончилось так много бесконечно странных русских судеб. Там же однажды,навещая ее, я встретил бывшего советского инженера, нынешнего добровольного парижского клошара. Впрочем, вполне приятнейшего жизнерадостного клошара. Я подвез его до Парижа и, уже в кафе, на прощанье, он вдруг сказал мне:

- Говорят ,эти, которые могли летать, попав на Запад, начисто теряют эту способность.

Был он весел, и улыбка его, зависшая в полумраке кафе, напомнила мне чеширского кота - одного из нашей компании.

Декабрь 1980
Париж

Нина Аловерт

В ПОИСКАХ КВАРТИРЫ

Рассказ

Любовь происходит от шевеления волос.
Или не происходит совсем.
Из изречений Н. Шарымовой

...Впрочем,это случилось уже после войны пуэрториканцев против русских в Джерси Сити, на замечательной улице по фамилии Ван Вагенен. Все, кто были чуть побогаче, тут же съехали с арены боя, переменили место жительства, а я все еще делала вид - сама для себя,- что ищу квартиру. Мы сидели с Таней на полу ее новой квартиры, чудесной новой таниной квартиры, которую они сняли в маленьком доме посреди химических отбросов элизабетинских заводов. Словом, мы сидели с Таней глубокой ночью, одни, поджидая танькиного мужа с работы,сидели и пили розовый ликер. Квартира глубокой ночью, когда в ней не спишь, кажется люлькой,подвешенной к потолку. А за дверями - мировая пустота.

Мы сидели с Таней на полу ее новой квартиры глубокой ночью и смотрели по телевизору фильм из жизни миллионеров. Следили мы не столько за перипетиями событий, сколько за материальным антуражем. Проходя из комнаты в комнату, из особняка в особняк,миллионерша мимоходом напилась и прыгнула в бассейн. "Все, - сказала я Тане, - я согласна. Я снимаю этот первый этаж. Мебель они могут забрать себе". - "Боюсь, - ответила Таня, - что наших общих с тобой денег хватит только на то, чтобы арендовать этот бассейн на одну ночь".

Мне совершенно ясно, что никуда я не уеду с распроклятой улицы с голландским названием, но все равно я ищу квартиру. Где-то на земле должно быть и мое место.

*
* *

Сегодня день рожденья самой моей близкой, самой дорогой подруги на белом свете, там, в городе Ленинграде. Звоню. Сердцем замираю, но звоню. О деньрожденное чудо! Соединили. Мы говорим с ней одновременно, а потому друг друга почти не слышим. Письма ее я, конечно, не получила, поэтому про что она спрашивает, совсем не пойму. Ну, да когда на пути писем Бермудский треугольник расположился и неопознанные тарелки шастают, то естественно, что письма не доходят. Я говорю ей про какую-то свою выставку,она отвечает: рада за тебя, но все это не имеет значения, главное, что все хорошо! И денег нет, говорю. Она отвечает: а деньги нам с тобой на роду не написаны, главное, что все хорошо!

Вот она, единственная. Рушатся на голову сателлиты,Бога нет - его заменили космические пришельцы. И только любовь вечна. Тривиально? КГБ тоже так решило, и телефон наш посреди слов о любви - разъединили.

*

* *

Мир всякой радости и всякой надежды говорит об утрате. "Дождешься вечерней порой опять и желанья,и лодки, весла и огня за рекой".

Нет, не будет, никогда не будет ни озера из далекой молодости, ни лодки, ни брусники под дождем, ни детских надежд на ту встречу, которая состоится, непременно состоится осенью, когда я вернусь с дачи,произойдет наконец тайное наше свиданье на знакомой улице, в доме с завешенным окном, и начнется наконец эта любовь, потому что нет ей ни конца, ни исхода, ни завершенья на земле.

Много было причин, по которым я уехала. И одна из них - отвлеченная. Хочу узнать, что же это такое за понятие - ностальгия? Хочу посмотреть на себя оттуда, хочу понести этот крест, который называется - эмиграция.

Теперь знаю. Ностальгия - это когда видишь один и тот же сон. Я приезжаю в город и еду в троллейбусе. Или трамвае. Потом поднимаюсь по той лестнице, по которой спускалась вниз из последнего дома, и звоню. Сначала лает собака, потому что она уже издали, уже давно услышала, узнала меня. И подруга моя единственная открывает дверь. А дальше нет уже ничего. И не будет. Или звоню по телефону, звоню и другу своему, которому махнула рукой, садясь в последнее такси, говорю: это я. Я сейчас приеду.

Я не скучаю по сказочному своему Ленинграду. Все, что я любила в нем, неразлучно со мной. И мне достаточно этого общения с городом.

Странное это понятие - эмиграция. Оно как смерть. Вот мы умерли, и жизненный круг завершился. "Жизнь отживших неизменна", - сказал поэт. Ничего уже нельзя ни изменить,ни исправить. Уходя из своей разобранной, разгромленной, раздаренной, умирающей квартиры, я не успела отодвинуть диван от стенки и посмотреть: что осталось там? До сих пор эта дурацкая мысль меня мучит.

Но дано нам удивительное после этой смерти: помнить. Все помним, и даже в новой жизни, которую так призрачно и ненадежно строим, все помним о прежнем. И все-таки - умерли. Потому что помним друзей наших, но нет у нас живого общения. И не будет. И так велика эта цена за новую,совершенно новую прекрасную жизнь, что уже и головы не поднять.

Поэтому и не хотела я никого больше любить и от всего, что судьба предлагала мне - отказывалась. И все это для того, чтобы она послала мне этого женоненавистника и закоренелого холостяка.

*

* *

Впрочем, есть у нас в этой новой жизни и свое прошлое. Изнемогаем от адской летней жары, которую, вероятно, еще плантаторы вывезли вместе с черными рабами из Африки. А тут еще - сирена завыла: на соседней улице начался очередной пожар. Несгораемые дома эти пылают каждую ночь, а пуэрториканские мальчики танцуют около огня и бьют по ревущим транзисторам, как по там-тамам. А посредине - самый главный, в черной шляпке с белой ленточкой - "предводитель дворянства". Это его Ира так прозвала. Ира, моя землячка, наш "впередсмотрящий", наши "последние известия". Что бы мы знали о происходящих событиях, если бы не Ира? Этого худенького пуэрториканского мальчика, который вечно крутился в центре всех драк, она и назвала "предводителем дворянства". Ах, как он танцевал! Этот вечно накуренный бандит, ударивший нашего приятеля по лицу палкой в момент, когда тот произносил спич о дружбе и мирном сосуществовании... предводитель бросился вперед с палкой,и площадка перед нашим домом,полная народу, закрутилась, завертелась,закричала на разные голоса... Боже, как он танцевал, этот бандит! Мы так никогда танцевать не будем,даже если начнем учиться с двух лет в самых знаменитых школах мира... Утром, как водится, собрались на совет в квартире у моей соседки, красивой ленинградки Нины. "Ну, - сказала она, уставив на меня свои зеленые длинные глаза наяды, - что будем делать,подружка?" - "Мы отдадим его в хореографическое училище, - заявила Ира. - Вы видели что-нибудь подобное? Ну, я вас спрашиваю? И нам станет спокойнее, и ребенку судьбу устроим".

На том и порешили.

"Но здесь дальше жить нельзя, девочки!" - Ира половинчатых мер не признает.

Ах, Ирочка! Ах, боевая подруга! Мы с тобой и в разведку,и в атаку ходили вместе... Вот уже многие покинули арену битвы на Ван Вагенен... Вот уже и Танька живет за тридевять земель, в окаянном своем городочке среди химических заводов, а мы, дорогая моя, все живем здесь, среди пожаров и драк. И боюсь, долго так жить будем. Потому что по нашим доходам нам и место уготовано. На этой земле.

*

* *

Нет, в гости я тебя не приглашала, в свой дом, нет, в дом чужой, там, на Бродвее, нет, не было той встречи семь тысяч лет назад, той, в черном платье, нет, свиданья призрачного, нет, стихов, тебе не посвященных, и дня рождения Наташи, нет, слов, тобой нашептанных в глаза закрытые мои, там, на Бродвее, не в моем дому.

*

* *

Воскресенье. Откуда это столько пыли набивается во всех углах? Недавно подметала - и опять, да еще какая-то лиловая. С метлой в руках села на кровать и прочла очередной отрывок из повести Агаты Кристи. Уже почти конец повести, а действующие лица все еще размножаются простым делением. И все еще никто никого не убил. И детектив Пуаро читает мораль молодым людям на манер проповедника в воскресной церковной школе.

Есть много сказок о джинне, заключенном в бутылку. И во всех одно и то же начало: пока джинн сидел первые сто тысяч лет в этой неудобной квартире, он клялся осчастливить каждого, кто его освободит. В следующие сто тысяч лет проживания в бутылке он клялся уничтожить каждого, кто его выпустит. Я сегодня прозаична, материальна, отделена от своей души и подметаю пол. После нашего свиданья прошло уже два дня. Я не верю, что ты существуешь, но все-таки хочу тебе заметить, что ты не звонил. Остерегись не позвонить мне завтра. Вдруг я буду ждать твоего звонка еще сто тысяч лет?

*

* *

Всегда знала, что Лондон - понятие литературное. Про него еще Диккенс писал.

Стою на площади. Наверху, на колонне - Нельсон, такой одинокий, смотреть больно. Ему одному во всем Лондоне виден океан.

Я иду по широкой улице, и каменные полководцы едут на своих каменных конях в ногу со мной. Выходим на площадь перед парламентом и Вестминстерским аббатством. Палевое кружево стоит передо мной зубцами кверху. И зубцы потемнели от времени. Так вот просто и стоит передо мной кружевное здание английского парламента, и Большой Бен как раз бьет четыре часа. Подошла к воротам и рыдаю, просто вот рыдаю, слезы так ручьем и текут: сердце красоты этой смертельной не выдерживает. Открываю глаза пошире и вижу перед собой двух полицейских, они тоже рыдают. От смеха, на меня глядя. "Не надо, - говорят, - так плакать, можно внутрь войти".

Внутрь я не пойду, это уж увольте. У сердца тоже свои пределы есть. А вот и моя подружка пришла, встала рядом со мной и смотрит на часы. Брюки голубые заправлены в сапоги, шубка расшитая распахнута, волосы длинные прямо вдоль лица лежат. Загадочная. Большой Бен бьет четыре. Это ничего, дорогая, что у вас в Ленинграде уже вечер. Может быть, ты ложишься спать или собираешься в гости... Время и пространство - это не для нас. Спасибо, что оторвалась от своих дел и стоишь со мной посреди этой

площади, посреди Лондона, города, который выдумал Диккенс. Спасибо. Не могу я смотреть на Вестминстерское аббатство в одиночестве.

*
* *

Плохи, очень плохи, просто совсем, совсем нехороши наши дела. Денег нет, и нет совсем. Не то чтобы нет работы: работы столько - хватило бы на целую жизнь. А вот денег нет. Если пойти ради денег в присутствие с девяти до пяти, каждый день с девяти до пяти и два часа на дорогу, то и жизни не нужно. А если не нужно жизни, то зачем деньги? А если хочешь сделать, написать, напечатать то, для чего живешь, то нет денег,и делать все это - писать, печатать - не на что.

*
* *

Люблю Нью-Йорк! Влюблена по уши. С первой минуты. Ехала в машине с аэродрома под проливным дождем. Дождь стал стихать, и из кромешной тьмы вдруг возник как будто поднятый за невидимые нити, сверкающий электрическими огнями город, черный силуэт странных очертаний. Как мне сказали - Манхэттен. С той минуты я люблю всем сердцем сказочный этот город, как бы не людьми построенный. Здесь должен быть мой дом.

Обожаю грязное, уродливое, полное мышей нью-йоркское метро. Выхожу из своего убогого, чистого, бесцветного *трейна* Нью-Джерси - 33 стрит, перехожу на станцию Ф или РР, окунаюсь в этот разноязыкий, разноцветный, тревожный подземный водоворот и душой отдыхаю. Маленькие японки со своими тщательно и красиво одетыми детьми, индусы в цивильных платьях и при галстуке,но в чалме, молодые черные парни в таких же кепках-аэродромах на голове, в каких у нас в Ленинграде грузины на базаре продают лавровый лист; молодые негритянки, одетые моднее последней модной картинки из "Вог". Черные девушки одеваются модно до безвкусицы, белые - до безвкусицы неряшливо и нарочито "неженственно". С возрастом все меняется: негритянки, обвешанные детьми, становятся похожими на тесто, вылезшее из кастрюли, а неряшливые белые девочки превращаются в элегантных, ухоженных леди, даже как-то по особому пикантных своей не первой молодостью. А ортодоксальные евреи?! Когда я впервые увидела прямо перед собой эти бледные, мраморные лица, не имеющие возраста, эти черные локоны "а ля Натали Пушкина", эти огромные черные шляпы в тридцатиградусную жару, я встала на месте и раскрыла рот, как настоящая провинциалка. А пожилые дамы в брючных костюмах розового и салатного цвета? Самое замечательное при этом - абсолютное безразличие окружающих. Никто на них внимания не обращает, "с ума сошла, старая дура" в лицо не говорит, как в любезном отечестве моем не преминули бы сказать... Выхожу из метро, поднимаю голову, оглядываюсь кругом и начинаю чувствовать себя человеком... Медисон - любовь моя, европейская улица с магазинчиками, где обыкновенный жестяной поднос продают за сто долларов... на витрины можно смотреть, как на экспонаты большого музея. Холодноватая Пятая аве-

ню... элегантные... впрочем, если бы тебя, мой друг, одеть в эту волчью шубу до пят, я думаю, не только твоя четвертая жена лежала бы в обмороке, но во всем Нью-Йорке не осталось бы равнодушных женщин... Каламбос-Серкл... полная воздуха, света... парк, где белки, ставшие квадратными от беспрерывного обжорства, покрывают собой землю плотнее травы...

Не говори мне, что это Вавилон и люди здесь суетны и бессердечны. И я такая же. И я тут живу.

Но Гринвич-Виладж! Это особый мир. На прямых его тротуарах, среди домов, каждый из которых хочется сделать своим, светят фонари, но их не замечаешь. Кажется, что улицы освещены софитами из-за кулис. Жизнь в Гринвич Виладж начинается в 4 часа дня и кончается в 4 часа ночи. Ночью здесь теряешь ощущение времени: открыты магазины, до отказа переполнены людьми итальянские кафе. Порой приоткрываются какие-то темные двери,и из красноватой полутьмы высовываются странные лица... женщины и мужчины - в испанских платьях... вот идут Ромео и Джульетта, в обнимочку - оба в бороде... шляпы всех времен и народов,сюртуки,камзолы, плащи, джинсы, куртки, юбки с оборками, шали, цветы... огромные театральные подмостки - вот что такое Гринвич-Виладж. Огромная сцена, по которой ходишь сам, как участник большого театрального представления. На каком-то углу за решеткой - садик. Посреди садика - белая мельница. В кустах щелкает соловей.

Приезжай, друг мой бесценный, Васенька! Эта жизнь была придумана только для тебя. А потому твоим именем отмечаю эти цветные повороты улиц, зову, заклинаю - приезжай сюда. Как вспоминала и звала тебя во Флоренции, Лондоне и Париже.

Перед самым моим окончательным отъездом из Ленинграда пошли мы с Васенькой в ресторан. Неприветливая официантка посадила нас за столик, где уже сидели двое посетителей, и швырнула на грязную скатерть грязное меню. "Смотри, смотри, - сказал Васенька, - больше никогда такого не увидишь". Да, действительно, не увижу. Но и Васеньку - тоже.

В Гринвич Виладж живет Наташа, живет под самой крышей, на уровне верхушек деревьев, а свет в комнату льется ниоткуда. Почти все деньги, которые зарабатывает, Наташа тратит на ренту,но зато у нее - дом. При самом большом безветрии рамой окна постукивает домовой, принимает участие в течении домашней жизни. На стене висят фотографии красивого, очень красивого, чистого, как бы специально для съемки вымытого европейского города под названием Ленинград. Постоянно приходят и живут в этой квартире люди разных профессий. На столе стоит неиссякающая бутыль красного вина.

Это про нас сказал Тютчев: "Угоден Зевсу бедный странник, над ним святой его покров. Домашних очагов изгнанник, он гостем стал благих богов!"

*

* *

Шла в редакцию газеты и увидела Довлатова. Стоит посреди мостовой, и на лице ужасно приличное выражение.

Ах, если бы мы иногда могли смотреть на себя со стороны!

*
* *

Что бы я сделала, если бы на меня вдруг свалился миллион? Я бы пошла по Медисон, скупая все самые изысканные и красивые вещи для моих подруг в Ленинграде... Я бы не покупала все,что увижу, а долго выбирала бы платья, помады, сапоги, браслеты... я думала бы о каждом из своих друзей... Потом я заплатила бы долги дорогого моего друга - Саши М. Деньги - фикция, они ничему не соответствуют. Сашино золотое сердце уж тем более никаким деньгам не эквивалентно. Может, лучшее применение деньгам - давать их Саше? Он никогда не научится жить "по-западному" и в ресторане будет платить за тех, кто богаче его. Я заплатила бы Сашины долги, потому что они угнетают его.

Я отправила бы Леню Л. отдыхать во Флориду, потому что он себе этого позволить не может и потому что больше некому о нем позаботиться.

С Наташей и Таней - разберемся отдельно.

А себе я купила бы дом. Совсем пустой, но с письменным столом. Без стола нет мне дома на целом свете.

А ты пришел бы ко мне в дом,и мы жили бы,как брат с сестрой, и ты бы делал все то, для чего ты живешь и за что деньги не платят. Но это была бы совсем уже не моя жизнь, а другая. Нет у меня на эту другую жизнь ни сил, ни обстоятельств жизни. Нет уже и жизни самой, не осталось. Нет и дома, и богатства тоже нет.

*
* *

Тем временем миллионерша вылезла из бассейна совсем не с тем мужчиной, с которым ей полагалось бы. Наверно, потому что этот не-тот - очень известный певец.

Люблю сидеть рядом с Таней и пить кофе из стаканов от сметаны. Таня живет совсем не своей жизнью. Внутри Тани заключен Одиссей или Колумб, а она работает парикмахершей на 23-й стрит.

Что касается Наташи, то ее жизненные перипетии так сложны оттого, что она живет только своей судьбой. Поэтому ей тоже нельзя помочь.

Когда я вижу такие фильмы, как этот, я отдыхаю душой. Я счастлива, что есть на земле люди, которые живут, как им нравится. Это меня утешает.

*
* *

Изумившись очередной нелепости, услышанной от тебя, говорю Наташе: нет, не могу больше! Все брошу и уйду дальше одна. "Сама виновата, - отвечает Наташа. - Все, что происходит, происходит по твоей вине. Какие тут могут быть планы? какие самолюбия? какие обиды? К нему надо относиться, как к явлению природы: раз идет дождик, надо взять зонт..."

*
* *

Стенка с фотографиями - это единственное, что есть в доме моего. Фотографии соединяют два мировых пространства - жизнь отжитую и жизнь нынешнюю. Когда в темной кухне я закладываю негатив в увеличитель, когда наступает тот единственный миг, к которому я не могу привыкнуть за всю жизнь, и на белой бумаге появляются первые линии изображения, появляются из ничего, из небытия, из моего желания - я счастлива. Это чувство счастья осталось в новой жизни совершенно таким же, как было раньше. То недолгое время, когда я печатаю, и то недолгое - затем, завтра, - когда мне еще нравится то, что я сделала, - это и есть мое собственное, реальное время. Я любила свой старый, черный, пузатый увеличитель, и он платил мне любовью и работал, несмотря на свою старость и несовершенство, как настоящий друг. И этот, элегантный, стройный, чей корпус так легко скользит по стволу... он тоже мой друг. Он доброжелателен, тих, он просто находится со мной в очень хороших отношениях.

Стенка в моей комнате увешана фотографиями. В центре стены - Саша М.,мой друг из прежней жизни,которого я нашла и здесь таким же, неизменившимся. Твоя фотография тоже попала ко мне на стену. Вообще-то предпочитаю не запихивать лицо в узкую рамку. Люблю, печатая, играть с пространством. Прошел человек,обернулся, посмотрел, а вокруг ничего нет, и многое скрыто в черном бархате бумаги. Но тебя я хочу видеть отдельно, так ты и смотришь на меня у самого края жизни - у самого обреза бумаги. Смотришь, как тогда, когда я сняла тебя, совершенно случайно, не из интереса, не по необходимости, скорее - из предчувствия. Так ты и смотришь на меня со стены; и каждый день, каждый миг - первый раз в жизни.

*

* *

Выбравшись из "пучины разврата", в которую, как ты говоришь, я тебя ввергла, уплыву от тебя на лодочке. Не спрашивай меня, буду ли я тебя любить долго. Ничего ты про меня не знаешь,да тебе и неинтересно. Растянусь я на дне лодочки,закрою от удовольствия глаза. Солнышко меня греет, месяц мне светит, ветерок мою лодочку качает, домовой мне вслед окошечком постукивает...

*

* *

Позвони мне! Из небытия, из невозможности, из прошлой нашей жизни - позвони мне! Голосом твоим, которого никогда больше не услышу, потому что не могу, просто не могу, и пластинку твою не поставлю, нет, не поставлю, не услышу голоса твоего, потому что умру, совсем умру, - позови меня голосом твоим! Больше никогда я не посмотрю на тебя из темноты зала, слов твоих, со сцены ко мне обращенных, не услышу. Но голосом твоим - позови меня.

Другой назвался именем твоим и называет меня по телефону так же, как и ты. Другой назвался именем твоим и попросил о помощи. Как я могла не ответить ему?

Уже два часа ночи у тебя, засыпай скорее, я уже перешла из своего пространства в твое, мне теперь неизвестное. Засыпай скорее, я вхожу в твой сон.

*
* *

Я не любила Петроградскую сторону в Ленинграде. Но слышу, даже сейчас отчетливо слышу звонки трамваев на углу Большого проспекта и улицы Олега Кошевого. Не потому даже, что жила там последние годы и привыкла. Но там остановилось течение жизни, а потому все мое прошлое и проживает до сих пор там, на Петроградской стороне. Там до сих пор ночью звонит телефон, и город с другой планеты - не существующий в действительности город Нью-Йорк - вызывает номер 32-88-17 в Ленинграде. Там после этого до сих пор по утрам стоит на лестнице агент КГБ, грязный и небритый, и тупо смотрит на мою дверь. Там на старой кухне, где на шести метрах умещается плита, столик, холодильник, ванна и газовая колонка, мы с единственной моей на белом свете подругой пьем кофе. Мы пьем кофе и обсуждаем вопросы, которые так и не решены до сих пор. Там сорок человек садятся за стол, чтобы отпраздновать мой день рожденья, и я их всех люблю.

И когда наступают в Ленинграде белые ночи, приходит человек и звонит в мою дверь,тот, о ком я не смела и думать, приходит, почти не переодевшись после спектакля, и звонит в мою дверь белой ленинградской ночью.

А на соседней улице, в доме, что стоит напротив до сих пор сохранившейся кучи мусора, живет мальчик. Он не стал еще ни моей судьбой, ни потерей, он сам еще своей судьбы не знает и поэтому - весел. А слезы и мировая слава - это все потом. Просто живет на Петроградской стороне веселый мальчик напротив кучи мусора, и я его еще не знаю.

*
* *

Жизнь изумительна. Конец ноября - а мы ходим без пальто, и воздух пахнет осенью и лесом, "оттуда", которое на берегу северного озера, среди валунов и мха. Я иду по земле легко, и весело идти мне и ступать, не чувствуя своей тяжести. Я прохожу по 42-й стрит и смеюсь, глядя на сверкающие рекламы порнофильмов, я любуюсь индусами, неизменными индусами под два метра ростом, всегда в белом, которые делают вид, что продают безделушки,на глазах у полицейских, настоящих полицейских с дубинками,как когда-то мы видели это в кино. Степенно ходят они перед полицейскими, и те неторопливо следят за ними из-под приопущенных век. Просто принцы крови, а не продавцы гашиша.

Я иду по 42-й улице, и смешно мне от счастья, что жизнь так разнообразна. И продавец соленых булочек на углу,уловив мое веселье, кричит мне: "Как поживаешь, беби? Счастливого тебе дня!" Я иду и кожей ощущаю это осеннее тепло и благодать. Жизнь изумительна. Возникли какие-то отношения с американским журналом. Нашла, где занять денег; теперь можно будет напечатать фотографии к выставке. Существует, оказывается, на свете удивительный театр, где перед началом спектакля огромные люстры, похожие на сверкающих ежей, трепеща поднимаются под самый потолок. И мальчик, живший в доме на соседней улице, выходит на сцену,мальчик,

живший в коммунальной квартире напротив никогда не исчезающей кучи мусора, выходит на сцену, и я повторяю про себя, обращаясь к тем, кого здесь нет: ты видишь? я смотрю твоими глазами. Ты видишь? Я все-таки переступила черту, которую провели перед нами и сказали: никогда. И вот я здесь и вижу за всех вас. Ты видишь?

*
* *

Я счастлива, и жизнь прекрасна. И самое прекрасное в ней, что все-таки придет ей конец. Когда я была моложе,эта мысль возмущала меня. Сейчас я понимаю, что бессмертие было бы хуже смерти. Должен же наступить конец этим бесконечным потерям, разлукам, конец любви, конец этой распрекрасной, удивительной, сказочной чужой жизни, которой мои дети будут жить как своей. И если правда, что на границе жизни мы встретим того, кто был сужен нам один и на всю жизнь, то я знаю, кто ждет меня там,за чертой песков. Тот, кого давно не вспоминаю, по ком не болит и не рвется сердце, тот, единственный,тот,оставшийся где-то далеко вместе с северным летом, брусникой в лесу, завешанным окном на знакомой улице... Черным идолом стоит он там, за чертой горизонта. Я споткнусь о него, засмеюсь от облегченья и упаду в голубой песок.

Леонид Иоффе

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Я. Чарному

1

Еще ты жив, пока на улицу выходишь,
гостишь у друга, на залив глядишь пока:
как зимний пляж и корабли и облака
в дождливой выглядят погоде.

2

Пускаешь побоку и барщину солдатскую -
отдай по месяцу, когда тебя зовут, -
и ту, сказал бы я, морску святотатскую,
что ты пропащий - судьи, бесы ли придут,
судья мирволит ли, и брызнет ли картечь -
не проще ли махнуть рукою
на взрывы, на безмолвие глухое.
Но можно выдумать ли так родную речь?

3

Еще ты жив, пока по улицам бездумно
прогуливаясь, примеряешь вид:
а хорошо ли дождь на городе сидит?
погоды - те же ведь футляры и костюмы;
на руку мокрую сегодняшний пошит -

гость умиротворен и сглажен,
негрозный потому что, влажный
костюм на городе сидит.

1979

* * *

Теперь по ломтикам и долькам
нам время сладкое дают,
и длится лакомство не дольше,
чем райских несколько минут.

Но мы легко уходим в прелесть,
недолгий ломтик надкусив,
когда, в плетеном сидя кресле,
глядим в себя, и вид красив.

1979

* * *

Еще на малость жизнь продлилась,
хотя и этот зыбок срок,
в излишек сладкий превратилась,
в довесок меда на глоток.

Довесок сладостный и чистый
к тому, что было и прошло, -
и опоздало получиться
и приключилось, как назло.

И, не скупясь и не транжиря,
я сладость нынешнюю пью
и, лишний раз любуясь миром,
слегка о будущем скорблю.

Пусть кто-нибудь меня избавит
от слова "будущее", от
всего, что сбудется едва ли
или на выручку придет.

Чтоб нерастроганно и даже
уже и сам, как ни при чем,
порхать со стайкой дней вчерашних,
которых в ней наперечет.

1979

Леонид Иоффе - московский поэт. Сейчас живет в Иерусалиме. Публикуемые стихотворения входят в сборник "Третий город".

Иван Буркин

СИМФОНИЧЕСКИЙ СКАНДАЛ

1

Телеграфные мужья,
Незамужняя береза,
Грозный вид из звонкой бронзы,
Дождь и осень как мазня.
Это - часть лишь панорамы.
Чуть не каждая деталь
Служит здесь как адъютант
И на нас не смотрит прямо.

2

Ну, а что на нас здесь смотрит?
Боль большой величины,
Штык, бутылка натюрморта,
Фунт вранья иль ветчины?
К нам доносится Стравинский
Из духовных облаков.
Кто-то флейтой отравился,
Кто-то умер глубоко.

3

А вот ночью при луне
Ездит буква на коне
Со свечой и сигаретой
И наполнена секретом.
Кровь моя куда-то ездит
И боится опоздать...
Я еще не запер вежды.
Кто бы мог им ковш подать?

4

Все не терпится душе.
Из словесного селенья
Переехал я в сомненье,
Из сомнения в досье
Поднебесных канцелярий,
Где всех зрячих исцеляют.
Я иду густой тропой,
А ведет меня слепой...

5

Как и всякий гражданин,
Сам себя я раздавил
И, как сказано в законе,
Сам себя я вырвал с корнем.
Разложил себя по полкам -
Сердце там, а разум тут.
Разум спорит с чувством, с толком,
Ноги из дому растут.

6

Полюбуйтесь, вот так штука!
Я двух жен держу в уме.
Видно, лебедь, рак и щука
Соревнуются во мне.
Симфонический скандал!
Феерические вина!
Половиной вдруг я стал,
Где другая половина?

7

Обновляется поэт,
Как ни странно. В результате
Маринованный читатель
Из печати вышел в свет
И заметил: как ни странно -
Дым идет назад в трубу.
В горле музыка застряла,
Человек застрял в гробу.

8

Возрождается строка,
Идиот торчит из пепла,
Разветвляется рука,
А потом играет в петлю.
С переломанным ребром
Крест стоит, под ним писатель,
Крест все тело приобрел,
Дух выходит из печати.

Начинается разъезд,
Я в другие лапы еду,
Вторник мчится прямо в среду,
Уезжает церковь, крест,
Городок за ними скачет...
Остается память-скатерть
(Залита она страной...)
И подушка в мир иной.

Иван Буркин родился в 1919 году. Начал печататься в Советском Союзе до Второй мировой войны. За границей печатался в "Гранях", "Опытах", "Мостах", "Современнике", "Перекрестках" и др. Опубликовал шесть сборников стихов.

Елена ШВАРЦ

ВСЕГДА ЛИ ПРАВ ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК? - ВСЕГДА

Такие существа, как гомункулы, которые еще не омрачены и не ограничены законченным воплощением в человека... можно причислить к демонам.

Гете. Разговоры с Эккерманом

1. Из дневника Петра Креаторова.

31 марта 1976 г. Наконец позади все мученья и озаренья, недели без сна и годы без отдыха! Слава, слава Богу! Ему же я, впрочем, и уподобился. Для моих созданий я Творец. Сколько порошков изведено, сколько кислот шипя проливалось. Мои пальцы за эти годы почернели, а душа... чего стоили ей, бедняжке, одни только вызывания духов и заклинания, не говоря уж о мученьях совести! Сколько и бедных крыс было мною убиваемо и даже живосечено! Но стоило, стоило! Пусть даже душа моя погибла, но я создал их - Карла и Клару, Меркурия и Серу. Особенно много надежд я возлагаю на Меркурия, я одарил его таким количеством серого вещества, что он едва может передвигаться, несчастный...

2. Действительно, уверяю вас, он создал свое маленькое человечество.

Он - убогий бухгалтер в химическом институте, некий Петя Креаторов, человек с лицом вполне незначительным, но из-за которого иногда как бы выплывало другое лицо и пряталось, как луна за тучу или как яблоко в кулак. Его психобиофилософскоэтический эксперимент, дорого обошедшийся институту, где служил Креаторов, помимо основных своих грандиозных целей преследовал и еще некую побочную цель, связанную с неразделенной любовью, которую питал он к Полине М. Он не видел ее уже лет семь... Но речь совсем не об этом. В комнате его стояли два ящика, размером с большую птичью клетку, стеклянные, как аквариум, задернутые со всех боков черным. Сверху в каждом из них была прикреплена лампа над полупрозрачной пленкой, и со всех сторон были дырочки для дыхания.

3.

Заглянем же в первую клетку. На полу (на земле) клетки росла свеженькая изумрудная травка, цвели незабудки,в углу блестел пруд (размером с суповую тарелку). Посредине стоял розово-желтый игрушечный домик (из немецкого набора "Мебель фюр пуппе"). Все это окаймляла немецкая же детская железная дорога.

Но что это? Дверь домика скрипнула, на крыльцо выбежал человечек ростом с указательный палец двенадцатилетнего ребенка и стал делать утреннюю гимнастику, распевая в сторону лампы: "Солнышко светит ясное, здравствуй, страна прекрасная!" (Самое поразительное заключается в том, что песню эту он сочинил сам!) Вслед за ним появилось такое же существо женского пола в голубом платьице, оно поцеловало гомункула и пропищало: "Доброе утро, Карл. Давай поблагодарим Боженьку, а то он рассердится и погаснет". (Они считали Богом лампу). - "Мне некогда", - пискнул Карл (богоборец) и побежал к пруду. "Благодарю тебя,светлый Боженька, за то, что светишь нам, недостойным", - прозвенела Клара. И тоже побежала купаться в пруд. Потом они принялись бегать по травке и целоваться. А потом катались по железной дороге,причем Карл изображал стрелочника, а Клара - машиниста. Так и кончился их четырехчасовой день. Лампа стала светить слабее, и они побежали в домик, где мирно уснули.

Если вам интересно знать, чем они питаются,то знайте: Креаторов делал им по ночам (их ночам) питательные уколы - витамины, глюкоза... Он делал их мгновенно, находя гомункулов в темноте наощупь, теплых и сонных. Пискнут,и все. Очень быстро он умел колоть.

4.

Зажжем лампу и над второй клеткой. В ней был сооружен средневековый городок - из папье-маше, с башней в центре. Городок расходился кругами и похож был сверху на гвоздику. На самом верху башни сидел гомункул в синем плаще, с огромной головой, покрытой колпаком. День свой он начинал тоже с молитвы, но не лампе молился он, а невидимому страшному, остроблещущему Богу (игле, вы догадались?). Другая крошечная фигурка ходила по дальнему кругу, как медленный шарик в рулетке, и заливалась слезами. Она пищала: Меркурий! Меркурий! Но Меркурий, заткнув уши ватой, открыл шкафчик,достал оттуда микрофильм (Креаторов сделал ему микрофильмы всех величайших философских, исторических и некоторых художественных произведений) и склонился над ним. Меркурий посвятил себя поискам Бога и прогнал бедную Серу из башни. Вот она ходит и плачет, что ей еще остается? Жаль мне Серу.

5. Из дневника Креаторова.

30 апреля 1976 г.

Жизнь их довольно однообразна. Правда, Карл и Клара иногда ссорятся. Но потом мирятся снова. Зачем я вообще сделал эту безмозглую парочку? Из любопытства, что ли? Ну сделал и сделал. Посмотрим. Они ведь и проживут недолго: еще месяц, другой - и конец. Могут ли они воспроизводиться?

- Меркурий радует интенсивной интеллектуальной и духовной жизнью. Сегодня во время инъекции пытался поймать иглу - не спал. Он все время развивается и пишет, много пишет.

Вряд ли мои гомункулы произвели бы впечатление на Полину, она бы и не поверила, что я сам их сделал - из ничего. Но алмаз произведет. Возьму для этого Серу, ей терять нечего.

6.

Некоторые этапы интеллектуальной биографии Меркурия.

Оп. 1 (сильно вначале тормозивший развитие гомункула,потому что он никак не мог довести его до конца, а доведя - сжег). Я есть все то, что я не есть. Я должен стать всем тем, что я не есть. Если я стану всем тем, что я не есть, определится - что же я есть. И тогда я стану и то, что я есть, и то, что я не есть, то есть - все.

Оп. 2. Эссе об инстинктах (короткое, как жизнь гомункулов).

У человека (или гомункула - я считаю,что это одно и то же) есть инстинкт накопления времени. Это именно инстинкт - врожденное стремление - приобретать и копить время. Природа снабдила его памятью - переносным сараем, куда он складывает накопленное время. Там вперемешку лежат поступки, исторические события, путешествия. Все в систематическом порядке, на полках, к которым приклеены этикетки-даты. Там же прочитанное или увиденное в театре или кино. Время прочитанное - более сложное понятие,состоящее из двух неравноценных слагаемых: времени, за которое книга читалась, и периода времени, о котором пишется в книге. И то и другое - одинаково иллюзорно. Человек создал позади себя как бы подпорки, заборы из мнимого времени, чтобы только не видеть,что времени нет, из страха вечности. Без скопленного времени, то есть без зашифрованных событий, процессов - знаков времени - он беспомощен, он спрашивает: куда ушла жизнь?

Иначе сказать: поступок - эквивалент времени, время в единицах действия. Он в сознании, памяти сохраняется как нечто,что можно обменять на отрезок времени. Некие интеллектуальные деньги, у которых нет обеспечения. С этим связан инстинкт разменивать душу. Частный вид - отдавать ее транспорту.Неужели мои соседи, катающиеся по железной дороге, не чувствуют, что за скорость отдают железной коробке душу? Ею пропиталась коробка вагончика, она живее их.

Инстинкт иметь свидетеля... (рукопись обрывается).

Оп. 3. О Боге.

Почему с Богом я сообщаюсь только через боль? (неокончено).

7. Из дневника Креаторова.

15 мая 76. Сегодня письменно проинструктировал Серу. Положил ей в кармашек ломик и пошел с ней в Эрмитаж,в золотой фонд. Там показал ей алмаз. Было трудно - там следят. Потом, перед закрытием, спрятал ее за батареей и ушел. Утром встретимся с ней в вестибюле. Заснуть не должна. Впрыснул ей наркотик. Бедная,ей там страшно, наверно, в темноте.

16 мая. Слава Богу! Алмаз у меня! Милая, дорогая Сера. Она сейчас спит. По-моему, она ко мне привязалась. Как ее благодарить? Иду к Полине.

...Был у Полины. Я не видел ее семь лет. Она замужем. Растолстела. Меня едва узнала. Я понял, что не люблю ее. Не стал даже и показывать алмаз. Верней, вынул все-таки и спросил: как ты думаешь - что это? Она сказала - стекляшка.

Но алмаз теперь надо вернуть. Опять надо мучить Серу.

17 мая. Вынул Серу из ящика. Поцеловал и прошептал ей на ушко, что она теперь должна положить камень на место. Она пискнула, что ради меня - готова. Опять отнес ее в Эрмитаж, за батарею.

Меркурий меня разочаровал. Он забросил все и сказал, что на свете есть только две интересные вещи - русский театр середины 19 века и алхимия. Хочет производить опыты. Не хватало еще,чтоб гомункул сделал гомункула. Это - дурная бесконечность. Не допущу. Волнуюсь за Серу. Эгоист Меркурий даже не заметил ее исчезновений. Ужасно! Бедная, одинокая, покинутая! Один я ее люблю. Люблю - и подвергаю опасности.

18 мая. Пришел. Алмаз - на месте. Серы нигде нет. Ходил и звал шепотом: Сера, Сера! Все тихо. Никто не откликается. Вдруг откуда-то кошка - в усах обрывок сериной юбочки. И служительница говорит: "Наша-то мышь сегодня спымала. Хлеб свой отрабатывает. Мышь! Мышь!"

Александр Кондратов

Из сборника «ПУЗЫРИ ЗЕМЛИ»

* * *

Наконец, наконец
Стал свинцовым леденец,
У любимой куклы Тани
Участилося дыханье,
А у папы вырос хобот,
Стал он вещи робко трогать,
Произнес чужую речь
И решил спокойно течь.
Стоптанною попою
Он растекся по полу.

* * *

- Скажи, куда летишь ты, кречет?
- Маршрут мой строго засекречен,
И не скажу, куда лечу я, -
Ответил он, подвох почуя.

* * *

Иванов большие гири поднимал.
Ему тренер Николаев помогал.
Он помогал ему советом

И умным планом тренировок.
Прошла зима, настало лето,
И Иванов, уменьем ловок,
На сорок восемь килограммов
Превысил прежний результат.
- Наш Иванов силен, как мамонт! -
О нем в народе говорят.

* * *

Иванов дорожку гаревую знал,
Ему тренер Нежмудинов помогал.
Он помогал ему советом
И умным планом тренировок.
Прошла зима, настало лето,
И Иванов, уменьем ловок,
На восемнадцать километров
Превысил прежний результат.
- Наш Иванов быстрее ветра! -
О нем в народе говорят.

О КОНДРАТОВЕ

Саша Кондратов (иногда Сэнди Конрад) - человек невероятной физической силы. Бегая однажды по Украине, он там всех обогнал. Его рост средний, глаза у него голубые. Дома ходит в боксерском халате и недурно дерется. Глубоко справедлив, защитник всех, кто обижен. Знания его обширны, таланты - невероятны. Он расшифровал знаки народов Океании, перевел на разные языки их сказания и песни, особенно про красную птичку, и его фамилия начертана позолоченными буквами на корешке книги, изданной Туром Хейердалом об этом предмете. Кроме того, он сам сочинил множество книг о значении знаков и количестве чисел. Но самые замечательные произведения - его стихи, романы, повести и рассказы. Кое-что опубликовал ККК в Антологии Синей Лагуны. Здесь еще 4 стихотворения, которые сохранились в моей памяти и в памяти Хвостенко.

А. Волохонский

Сергей Гандлевский

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

Еще далёко мне до патриарха.
Еще не время, заявляясь в гости,
Пугать подростков выморочным басом:
"Давно ль я на руках тебя носил!"
Но в целом траектория движенья,
Берущего начало у дверей
Роддома имени Грауэрмана,
Сквозь анфиладу прочих помещений,
Которые впотьмах я проходил,
Нашаривая тайный выключатель,
Чтоб светом озарить свое хозяйство,
Становится ясна.
Вот мое детство
Размахивает музыкальной папкой,
В пинг-понг играет отрочество, юность
Витийствует, а молодость моя,
Любимая, как детство, потеряла
Счет легким километрам дивных странствий.
Вот годы, прожитые в четырех
Стенах московского алкоголизма.
Сидели, пили, пели хоровую:
Река, разлука, мать сыра земля.
Но ты зеваешь: "Мол, у этой песни
Припев какой-то скучный..." - Почему?
Совсем не скучный, он - традиционный.

Вдоль вереницы зданий станционных
С дурашливым щенком на поводке,
Под зонтиком, в пальто демисезонных
Мы вышли наконец к Москва-реке.
Вот здесь и поживем. Совсем пустая
Профессорская дача в шесть окон.
Крапивница, капризно приседая,
Пропархивает наискось балкон.
А завтра из ведра возле колодца
Уже оцепенелая вода
Обрушится к ногам и обернется
Цилиндром изумительного льда.
А послезавтра изгородь, дрова,
Террасу заштрихует дождик частый.
Под старым рукомойником трава
Заляпана зубною пастой.
Нет-нет, да и проглянет синева,
И песня не кончается.
                              В припеве
Мы движемся к суровой переправе.
Смеркается. Сквозит, как на плацу.
Взмывают чайки с оголенной суши.
Живая речь уходит в хрипотцу
Грамзаписи. Щенок развесил уши -
His master's voice.
                              Беда не велика.
Поговорим, покурим, выпьем чаю.
Пора ложиться. Мне наверняка
Опять приснится хмурая, большая,
Наверное, великая река.

* * *

Рабочий, медик ли, прораб ли -
Одним недугом сражены -
Идут простые, словно грабли,
России хмурые сыны.
В ларьке чудовищная баба
Дает "Молдавского" прорабу.
Смиряя свистопляску рук,
Он выпил, скорчился - и вдруг
Над табором советской власти
Легко взмывает и летит,
Печальным демоном глядит
И алчет африканской страсти.
Есть, правда, трезвенники, но
Они, как правило, говно.

Алкоголизм, хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
Мы все от мала до велика

Лакали разное вино.
Оно прелестную свободу
Сулит великому народу.
И я, задумчивый поэт,
Прилежно целых девять лет
От одиночества и злости
Искал спасения в вине
До той поры, когда ко мне
Наведываться стали в гости
Вампиры в рыбьей чешуе
И чертенята на свинье.

Прощай, хранительница дружбы
И саботажница любви!
Благодарю тебя за службу
Да и за пакости твои.
Я ль за тобой не волочился,
Сходился, ссорился, лечился.
И вылечился наконец.
Веди другого под венец
(Молодоженам - честь и место),
Форси в стеклянном пиджаке,
Последний раз к твоей руке
Прильну, стыдливая невеста,
Всплакну и брошу на шарап.
Будь с ней поласковей, прораб.

* * *

Вот наша улица (допустим,
Орджоникидзержинского),
Родня советским захолустьям,
Но это все-таки Москва.
Вдали топорщатся массивы
Промышленности некрасивой.
Каркасы, трубы, корпуса
Настырно лезут в небеса.
Как видишь, нет примет особых.
Аптека, очередь, фонарь
Под глазом бабы. Всюду гарь.
Рабочие в пунцовых робах
Дорогу много лет подряд
Мостят, ломают, матерят.

Вот автор данного шедевра,
Вдыхая липы и бензин,
Четырнадцать порожних евро-
Бутылок тащит в магазин.
Вот женщина немолодая,
Хорошая, почти святая,

Из детской лейки на цветы
Побрызгала и с высоты
Балкона смотрит на дорогу.
На кухне булькает обед.
В квартирах вспыхивает свет.
Ее обманывали много
Родня, любовники, мужья.
Сегодня очередь моя.

Мы здесь росли и превратились
В угрюмых дядь и глупых теть.
Скучали, малость развратились -
Вот наша улица, Господь.
Здесь с окуджавовской пластинкой,
Староарбатскою грустинкой
Годами прячут шиш в карман
И вырезают, как армян,
Свои дурацкие надежды.
С детьми играют в города:
Чита, Сучан, Караганда.
Ветшают лица и одежды.
Бездельничают рыбаки
У мертвой Яузы-реки.

Такая вот Йокнапатофа
Доигрывает в спортлото
Последний тур (а до потопа
Рукой подать), гадает, кто
Всему виною - Пушкин, что ли?
Мы сдали на пять в этой школе
Науку страха и стыда.
Жизнь кончится - и навсегда
Умолкнут брань и пересуды
Под небом старого двора.
Но знала чертова дыра
Родство сиротства - мы отсюда.
Так по родимому пятну
Детей искали в старину.

* * *

Молодость ходит со смертью в обнимку,
Ловит ушанкой небесную дымку,
Мышцу сердечную рвет впопыхах.
Взрослая жизнь кое-как научилась
Нервы беречь, говорить наловчилась
Прямолинейною прозой в стихах.

Осенью восьмидесятого года
В окна купейные сквозь непогоду
Мы обернулись на Курский вокзал.
Это мы ехали к Черному морю.
Хам проводник громыхал в коридоре.
Матом ругался, курить запрещал.

Белгород ночью, а поутру Харьков.
Просишь для сердца беды, а накаркав,
Локти кусаешь, огромной страной
Странствуешь, в четверь дыхания дышишь,
Спишь, цепенеешь, спросонок расслышишь -
Ухает в дамбу метровой волной.

Фото на память. Курортные позы.
В окнах веранды красуются розы.
Слева за дверью белеет кровать.
Снег очертил разноцветные горы.
Фрукты колотятся оземь, и впору
Плакать и честное слово давать.

В четырехзначном году, умирая
В городе N, барахло разбирая,
Выроню случаем - и на ходу
Гляну: о, Господи, в Новом Афоне
Оля, Лаура, Кенжеев на фоне
Зелени в восьмидесятом году.

Юрий М. Меклер

УРОЖДЕННЫЕ

Повесть

Атас. Ввиду отсутствия собственных детей, а также намыливающейся в туман молодости, мы вынуждены были пользоваться доступными нам языковыми средствами при переводе этой истории с детского диалекта на изощренную понятийную систему близкой нам духовной личности.

- Вставайте, мужики, к нам пиздец подкрался. Ты что: снег выпал, изволь полюбоваться, теперь околеем все к божьей матери, пока наши волобуи из котельной раскочегарятся. Одно слово: ноёбрь.

- Подымайся, Хозяин, не моя очередь приканчивать Голубню! Уму непостижимо: по милости чьего-то совершенно чужого и потому особенно гнусного равнодушия к коллективу, который по ночам тоже спать хочет, я... А девки дрыхнут без задних ног. Потому что не к ним обратились. Скажи, Голубня: "Бабье, жучьи дети,кому пистон вставить?" - живо бы... Голубня!.. Спит, представь себе, проснул меня, а сам юрк на теплое местечко мой сон за меня досматривать. О чем задумался, Хозяин?

- Задумался: как оно у Иерихониной - вдоль или поперек.

- Окстись, Аксинья. Даже у милиционерши, - кстати, давеча опять заходила, ты как раз отлучался, говорит: "Это ужас что за район: ни поссать до дежурства, ни подмыться после", - даже у нее, уж на что замшело, а и то вдоль, так с чего бы у Иерихониной было поперек?

- А вдруг?

- Вышлем разведку боем?

- Холодно. Голубня сказал: снег упамши.

- Я без Голубни вижу: чего упамши, а чего выпамши в осадок с тоски от неуправляемости собственного страха пытается всухую договориться со своей эрекцией. Я тебя из хозяинов уволю,ты это знай. Вот так всю жизнь до конца и обратно: только - пирог пирогом - испечешься к щам, глядь, а народ уж чай допил. Заруби себе на носу: ты хозяин потому, что я слуга. И если сей же час

ты не распорядишься проверить, как оно у Иерихониной: вдоль или поперек, я не смогу тебе подчиниться. Да отдаешь ли ты себе отчет, куда заведет нас политика внеотношенчества, на что замахнулась глупая твоя голова?..

- Сам дурак. Лезем.

- Вот таким я тебя люблю; не потому что ты мне нравишься, а потому что другим ты у меня не получаешься.

Они сползли на пол и, стараясь не стучать громко коленками, двинулись под кроватями соседей ко второй постели от правого окна, если смотреть из дверей. Как уже заметил Голубня, в описываемый период на дворе дома в Благодатном переулке стоял ноябрь двадцатого века. В самом доме помещался детский сад продленного режима, и ночные бдения происходили в его средне-старшей группе, в спальне на семь человек, а именно: на Голубню,Хозяина,Гастева, и среди них людей женского пола - Вязьменскую, Леблядёву, Иерихонину и Бутому, - все шести лет от роду.

Те двое, что ползали, Хозяин и Гастев, доползли до постели Иерихониной, посверкали в ночном освещении головами из проходов между кроватями, и кажется, кто-то один положил руку на одеяло с краю, но тут девочка зашевелилась, чтобы перевернуться на другой бок, и с превеликим грохотом, в самом деле шумно,а не только потому, что любой шорох оглушителен в детской ночи, двое ринулись по местам и забылись тотчас, без обмена впечатлениями.

Наутро выявилось, что ночью некто не стерпел напора,причем, что характерно: свою мокрую простынь просунул под Иерихонину, а ее, чистую сравнительно, забрал себе.

Мылись напряженно. Были позваны завтракать, на что относительно согласились. На выходе из раздевальной, где призывали к порядку женский состав, самостийно учинивший гинекологическое обследование над Иерихониной, Гастев сказал Хозяину:

- Ты понял? - ведь это ему надо было ее всю с ног перевернуть до головы...

Из уборной, где обыкновенно заседали, Гастев командировал Бутому занять разговором с целью отвлечь, чтобы не мешались где не надо, взрослых воспитателей группы, сказав ей:

- Поди, поди, поговори со старыми дурами о гениталиях,у тебя это хорошо получается. Уму непостижимо: что той,что другой - по двадцать лет, а говеют от одного предмета разговора как поссыкухи из яслей.

Начал Хозяин:

- Бабы, навожу среди вас спокойствие.

- Девки, заметьте: ебсти - абсолютно не собираются, а вместо того наоборот успокаивают (Вязьменская)!

- Куда прикажете (Гастев)?

- Поискать - так мало ли чего отыщется (Леблядева).

- Ну, Леблядева, от тебя я этого никак не ожидал: плясать под дудку записной бунтовщицы (Гастев).

- А ты меня за личность не трожь! За остальное - Бога ради, но за личность (Вязьменская)!..

- Нет, ты в правый сунь (Голубня).

Иерихонина и Голубня в качестве пострадавшей и подследственного сидели впереди, занимая первые горшки, и Голубня, который,

несмотря на жесткое предписание снимать на время собраний штаны, их тем не менее не снял, теперь предлагал Иерихониной засунуть руку ему в правый карман штанов. Иерихонина,кокетничая,путала правое с левым, наконец, сделала как было сказано, охнула и выдернула руку, заметно польщенная. Обнаружив, что они привлекают общее внимание, так что народ даже привстал, как при голосовании, Голубня неожиданно запричитал:

- Шарик, Шарик, куда ты запропастился, негодник? Все утро на тебя убил, обыскался вконец - нету,хоть тресни. Господи,Твоя воля, - за что? ведь еще ничего не успел мальчишка. Шаричек,вылезай, пожалуйста!..

Хотя было отлично известно, что Голубне не позволяют дома держать лишнюю пару трусов, не то что собаку в детском саду, группа выказала живейшее участие в поиске пропажи, пока Голубня не сказал:

- Пропал окончательно. Ну ничего: я себе другой шарик скатаю.

И закрылся рукой смущенно, и в то же время сияющим из-под локтя глазом приглашая вместе радоваться переносу значения: Шарик - шарик.

- Дебил, прости Господи, - пробормотала группа, снова расселась по горшкам.

Гастев воспользовался заминкой, чтобы пододвинуть собранию камень преткновения, на который тотчас же, упершись рогом, полезла Вязьменская:

- Мы, женщины, отнюдь не склонны осуждать поступок Голубни. В конце концов, в любви каждый устраивается как может. И если Иерихониной для полноты счастья недоставало обоссатой простыни, какое наше шариковое дело мешаться в ее непросохший интим? Поэтому мы, женщины, протестуем против намечающейся акции закидывания Голубни жидким стулом, расценивая таковое как причиняющее ущерб чувству одной из наших. Я кончила.

- Рад за тебя (Гастев). Параноид!.. Голубня проштрафился в пух. На полных основаниях имеем право присудить его к чему угодно. Пусть сам как хочет так и становится, кем захотим. Да понимаете ли вы? - КЕМ ТОЛЬКО ЗАХОТИМ. Параноид!..

ЛЕБЛЯДЕВА. А если мы, чтобы он никем не становился,захочем, - что ты тогда запоешь?

Тут Гастеву действительно стало не до песен. Игра "Стань таким, как я хочу" была его личным изобретением и претворялась в жизнь единственно его усилиями и по его настоянию. Можно сказать, что ею, этой игрой, он именно жил. Тоска, печаль - человека вынуждали заглянуть людям в глаза, и что же он там увидел: его женщина Бутома, возвратившаяся после заговора воспитательских зубов, сидела вся в утомлевиче, углубленно и со знанием дела созерцая срединным оком содержимое своего горшка; Хозяин,какой бы дубовой ментальности он ни был обладателем,рано или поздно должен был заметить номинальность своего первенства, и хотя по его воловьему оку нипочем было не догадаться, где водилась его мозговая мысль, уже спасибо, что не точил при людях на Гастева зуб; Леблядева с ее закомплексованной перекошенностью ебла всегда представлялась Гастеву темной лошадкой, он неоднократно

натыкался на непредсказуемость ее реакции, в особенности касательно сколько-то авторитарных систем, поэтому меньше всего был склонен доверять ее дурному восторженному взору; Иерихонина,божий одуванчик, к тому же в результате последних событий напрочь заобожала Голубню, в кого и была уставлена всем чем можно,включая зрение; Вязьменская отпадала сразу вне зависимости от глаза, будучи по природе старым и опытным врагом; оставался,как ни парадоксально, один Голубня.

- Ну а сам-то ты как, Голубня? Небось, тоже сразу на попятный, как за живое прихватило?.. Не в дерьме дело,не боись. Дерьмо что? - одно средство, отпускается исключительно для оправдания верховной цели, потому замечено: будучи по хлебало в навозе, всякой твари легче осознать, кто она из себя в действительности есть, что важно: при обращеньи с собой следует хотя догадываться, с кем имеешь дело. И особенно в нашем частном случае, когда работаем на измененье человека, полезно иногда дойти до точки в выявлении человечьей натуры. А то что это, все дичь какая-то невнятная. Возьмем твое недавнее творчество, к примеру, Бутома, ну что это: "Замри и обернись верблюдью". Как ребенку обернуться, если он замерший на одной левой брове стоит? А и обернется во что ни на есть, где это на нем написано, как это проконтролировать?.. Так называемая Бутомой верблюдь - та по крайней мере плюнет кому в рыло, а замершему и того не дано. Невразумительно мыслишь, девочка. Так что, Голубня, согласен пострадать за общее дело?

ГОЛУБНЯ. Да нет, я что, как коллектив скажет.

И так как коллектив смутно безмолвствовал,то Голубня продолжил:

- Ты бы надела трусы, Иерихонина, чай, ноги замерзли по самое горло.

Шла пятница, и после обеда народ был разобран по домам.Оставили одного Голубню, его не разбирали. Он не скучал, однако. В частности, облегчился в фикус и, когда тот протек, построил из цветочной земли на паркете дамбу,чтобы запрудить это дело. Спать лег вовремя, ничьих снов ни за кого не досматривал,простыней ни под кем не менял, как не менял их и в прошлую ночь, сызмальства не имея привычки позорить себя, так как еще в недельном возрасте бывал всякий раз нещадно бит за замаранные пеленки матерью.

В понедельник людей завезли обратно. Надвигался праздник революции. Гастев выудил Леблядеву из мусорного ящика под лестницей и пригласил пройти с ним в умывальную:

- Пойдем, старуха, хватим по маленькой двойной.

Они сели в раковину и выпили по наперстку воды.

- Признайся, Леблядева, чем я тебе не нравлюсь, за что ты меня, такого хорошего, не любишь, что ты из-под меня имеешь и каким бы ты меня хотела быть?

- Ты чего это, Гастев, никак пристраиваешься, что ли? Еще, главное, в раковину мою сел. Бутома заглянет - убьет.

- А я ведь серьезно, поговорить хочу.

- Вот и я гляжу: прижимается, чего-то хочет, ох не к добру это!.. Пусти ногу,аж грудь мою трогательную схватило! Только бы Бутома еще минуточку повременила, ах, лишь бы не вошла!..

- Да кто к тебе лезет, коряга!

- А вот "коряга" здесь лишнее. Никто не неволит,не хочешь - гуляй ветром по казахской степи. Ты меня сюда зазвал - не я тебя... И испугался сразу, в другую раковину пересел; боишься,Бутома рассердится? Не рассердится, она привыкла, еще и не такое снесет.

- Слушай, Леблядева, а может, в самом деле, перейти нам с тобой вдвоем в другой детский сад? Здесь так уже все устоялось... Изменить, в смысле - перепихнуться, и то нельзя: на драму норовишь нарваться. А там новое место... Мы могли бы быть вместе, думаю...

- Ты думаешь, или мы могли бы?

- Прости, но такие вещи решаются на пáру.

- Что ты скажешь о саде на Смоленской, дорогой? Это около больницы Коняшина, очень удобно, если вдруг пойдут дети,и ехать недалеко. Еще по маленькой двойной? Прими-прими: вода - очень хорошо от глистов: много хлорки. Знаешь, надо поберечься - со здоровьишком в этом году тяжело.

Прямо из умывальной Леблядева влилась в женский коллектив, направлявшийся в гости к Бутоме. Бутома с гостиной помещалась в кладовке для хранения хозяйственных принадлежностей и, как всегда при гостевом набеге, принимала немного в неглиже: приспущенные чулки, не совсем чесана, заранее в нудеже, с ногами в ящике из-под мастики,как в кресле, сама за маникюром.

- Присаживайтесь, девки, чувствуйте себя хорошо.

- Какое к хренам хорошо, когда изнываем в терроре!

- Вязьменская, сядь, пожалуйста.

- Бутома, ложи себя взад. Твой козел совершенно распоясался: выдерживает нас часами на горшках,как студень,и еще отсасывает из-под низу, чтобы шло непременно жидким. Не фиг! Попили наших менструаций - и будет! Бабы, разбирай оружие! Иерихонина, будешь для острастки размахивать пылесосом, можешь врубить его себе куда-либо в целях вентиляции поля боя. Эх, граблей нету - так по гастевым зубьям в жилу пришлось бы!..

В середине вязьменского монолога Леблядева нагнулась к Бутоме:

- Козел твой и вправду чего-то замышляет: предлагал мне перейти с ним в другой сад.

- Поживем - увидим.

- Хули там глядеть! Глазки - на ладонь, а по ножевым ранам, хуева тачка,что определишь! Бабы,где обещанная революцией вольница? Одна говна-пирога!

Тут в дверь кладовки постучали вежливо, и просунувшийся Гастев спросил, не желает ли кто пойти репетировать поздравление к общенародному празднику. Видимо, все желали, потому что пошли. Гастев задержался у Бутомы, долженствующей слегка доодеться.

- Чего пригорюнилась, швабра, или недовольная чем? Недовольна - смело говори: все-то ты искупила долготерпением своим. Ты почему ту ночь, на пятницу, не спала всю напролет - почему?

- Думалось хорошо, жаль было прерывать.

- Умная стала. Сильная становишься.

- Есть с чего.

- Что мать твоя, замуж вышла?

- Давно. С того времени уж мы этого мужа выжили и ребенка от него ждем.

- Быстро у вас все.

- Кроме оплаты по счетам. В субботу приходили из квартиры выселять, потому злостные мы неплательщики. Мать как брюхом вперед на них поперла, как меня дворничихе на руки дала подержать, так они сразу забыли, на каком этаже стоят, мы же с матерью их удерживали, чтобы они всей делегацией в пролет не попрыгали.

- Ты хорошая. Не суди меня сильно, ладно? Со скрежетом зубовным жизнь на жизнь только и похожа, а так, когда безо всего, чего с ней делать?

- А надо?

- Что?

- Делать с жизнью разве что-то непременно надо?

- Надо, Федя. Иначе просто пиздец какой-то. Ни за каким лядом она сама по себе, жизнь.

Важно было договориться, чем привечать праздник. Сели на горшки.

ГАСТЕВ. Чего расселись? Вы, что, сюда срать пришли? Вы знай думайте: что за приветствие будем готовить, какова его сверхзадача, чтобы было не вообще за родину за Сталина,а с мыслью чтоб. Так, например, думайте: что мы желаем выразить в нашем поздравлении, к кому в первую очередь в нем обращаемся? - к родной партии и народу в лице нянек с уборщицами и прочей взрослоты. Значит, им оно предназначено, объект направленности выявлен - уже легче, баба с возу - лошадко воскресла. Вот ты, Леблядева, что ты надумала, что нагло сидишь с независимым видом?

ЛЕБЛЯДЕВА. Забудь эту гнусную привычку, Гастев: чуть что - сразу за Леблядеву хвататься; других, что ли, нету на свете?

ГАСТЕВ. Ответ не по существу.

ВЯЗЬМЕНСКАЯ. Ошибаешься. Почему за все в мире должны отвечать и расплачиваться мы, женщины? Вон Голубня, он с приветом, ему самим Богом положено партийные приветствия сочинять.

ГАСТЕВ. А Голубню, Вязьменская, ты не трожь, Голубня не нанимался мучеником работать. Он свое в пятницу получил, неделя прошла, дело закрыто.

ВЯЗЬМЕНСКАЯ. Чего он такого получил? Малость припугнули малого дерьмецом, и только.

ГАСТЕВ. "И только" - потому что расхотели играть в игру. И уже теперь кончено: один раз разошлись - больше вместе не жить.

ЛЕБЛЯДЕВА. Разве кто-то собирается?

ГАСТЕВ. И я меньше всех. Итак, думайте, пожалуйста.

ИЕРИХОНИНА. Я придумала. Можно мне?

ГАСТЕВ. Ты, божий одуван Иерихонина, сначала вылезь вся из голубневого кармана, потом скажешь.

БУТОМА. Я не понимаю, почему бы не поступить, как мы всегда в таких случаях поступаем?

ГАСТЕВ. Обернуться всем одной верблюдью?

БУТОМА. Нет,послать кого-нибудь в революционное время,пусть привезет оттуда оригинальную партийность.

ХОЗЯИН. Когда это мы так поступали?

БУТОМА. Не поступали - так будем поступать,какая разница? - однохуйственно.

ГАСТЕВ. Боже правый, человек постоянно в смещенном времени обитает, другая из мужского кармана наружу не вылазит, мокрыми простынями по ночам манипулируют как совестью,чуть дверями кладовки прикроются, только и слышишь, что призывы к анархии - матери порядка, начальство вообще слиняло с горизонта, - это не детский сад, а 300 лет дома Романовых, мужики, с кем жизнь коротаем?..

ИЕРИХОНИНА. Ой, девочки, простите, и мальчики тоже, почему у него такая маленькая головка на таком большом хвосте? А можно мне его погладить?

ГАСТЕВ. Ведь казалось бы, ясно было сказано Бутомой,Иерихонина: набираем добровольцев идти в революционное время за партийным приветствием - куда ж тебя, мать, к ихтиозаврам занесло?

ИЕРИХОНИНА. Извините, уже проехали.

ХОЗЯИН. Так. Остановочка. Все выходим.

ВЯЗЬМЕНСКАЯ. Да куда выходим-то, где мы? Ау!

ГАСТЕВ. На поверхность, дети, на поверхность, там разберемся, кого куда занесло. Бутома, а ты где застряла? Кончай на петровских реформах кайф ловить, эдак ты еще в татарское иго затыришься, оттуда тебя калачом не выманить. Вещички можно не брать, Леблядева. Никого не забыли?

ЛЕБЛЯДЕВА. Какие там вещички? не до жиру... Ты ложись, не видишь - стреляют!..

ГАСТЕВ. Спокойно, без паники! Оставить убег! Это наши прямо со съезда пошли из Смольного в ледяную атаку на мятежный Кронштадт. Все будет в порядке, я точно знаю, благо,и Левушка Троцкий на белом коне впереди.

ВЯЗЬМЕНСКАЯ. Это кто это "наши"? Для кого "наши", а для кого - клоп в каше. Вашего Левушку собственные ваши спустя пяток-другой годков с белого коня в мексиканский чернозем ссадили. А не ссадили - он их ссадил бы, и тогда азиатщина, которую развело на подопытном российском огороде грузинское животное,померкло бы перед изощренностью местечкового изуверства.

ГАСТЕВ. Ага, да ты ко всему еще и антисемитка!

ВЯЗЬМЕНСКАЯ. А что, не правда, что ли, что все якобы забаллотированные художества Льва Давыдыча, как-то: огосударёбствование профсоюзов, введение военного положения в стране и тому подобные удовольствия - все было незамедлительно внедрено в жизнь, хотя и за чужой подписью, не правда?

ХОЗЯИН. Так. Быстренько собираем манатки, что-то мы задержались не по делу. Бутома, ты где?

ГОЛУБНЯ. Она с Пестелем в Зимнем Дворце танцует - с бантом на башке, ну вылитая Наташа Ростова на первом балу.

ИЕРИХОНИНА. Ну и как оно с ним, Бутома?

БУТОМА. Чувствую: тот еще мальчишечка.

ВЯЗЬМЕНСКАЯ. Так он, что, у тебя декабрьское восстание взад отыграл?

БУТОМА. Нет, с петли сорвался и из Сибири прямиком через Америку на Николашку Палкина грянул.

ЛЕБЛЯДЕВА. Чай, поточил о него клюв-то?

БУТОМА. Еще как, чувствуется, поточил: и за Кондрата, кореша своего, и за "Зеленую лампу".

ГАСТЕВ. Леблядева, а ты не подсказывай, нехорошо историю фальсифицировать.

ВЯЗЬМЕНСКАЯ. Да чего там фальсифицировать, - Бутома,подтверди: завернул Пестелек народные гаечки?

БУТОМА. Не то слово.

ВЯЗЬМЕНСКАЯ. О чем и речь. С каждым следующим,забежавшим на минутку погреться в Зимний Дворец, предыдущему ни сном ни духом не сравниться. А говорят: реакция... Реакция на что?.. Не хрен-то с больной головы на здоровую валить, коли рожа крива и в глазу дубье. И вот так куда ни кинь: что вперед, что назад - всюду клин!..

ЛЕБЛЯДЕВА. А не находите ли вы, девки, что будто бы отвоевав себе свободу от ненавистной гастевской игры "Стань таким, как я хочу"...

ВЯЗЬМЕНСКАЯ. Как Гастев хочет.

ЛЕБЛЯДЕВА. Вот именно, мы тем не менее в активном порядке продолжаем ее разыгрывать, причем, пасут нас пуще прежнего, наигрывая на знакомой дуде. Смотрите сами, или не мурыжопят нам мозгу, едва не силой, с помощью гастевской пособницы Бутомы вгоняя нас в бред наяву, ссылают нас невесть в какую временную тьмутаракань за диким приветствием к дикому празднику?..

ГАСТЕВ. Во имя чего, Леблядева, спроси же: во имя чего вас пасут, мурыжопят, вгоняют и ссылают?!..

ЛЕБЛЯДЕВА. Спросите у отцов, и вам ответят их сыны.

ХОЗЯИН. Что они им ответят?

ЛЕБЛЯДЕВА. Милый наш Хозяин, совсем заплутал ты во вверенном тебе лесу. Ты хочешь знать, на что намякивает Гастев?

ХОЗЯИН. Хочу все знать.

ЛЕБЛЯДЕВА. Так ли уж это необходимо, если все?.. Извини,Хозяин. Гастев в присущей им концептуальной манере желают нас уверить в том, что нынешнее государство вышло к воплощению предназначенного ему свыше удела: наконец-то может оно с человеком все, даже позволить себе оставить его без измененья, каким он есть, на собственное его человеческое саморастерзание. И стало быть, какой же,по Гастеву,выкристаллизовывается основная задача человечества перед лицом его повально-глобального упразднения? - задача: кинуть все подонки своих дохлых остаточных сил на вырождение из своей среды особи принципиально иной формации, способной к сосуществованию с современным государством. Итак, пристраивайтесь к тоталитаризму с детства, дети, позже будет поздно.

ГАСТЕВ. Да, да, да! иначе - не выжить!..

Общее благородное негодование было ответом Гастеву. С вязьменскими слова "вот он и колонулся, прилизанный,как сволочь" началась травля и длилась до тех пор, пока Гастев не изнемог и стал сдирать кожу с лица. Тогда же перестал откликаться на свое имя Голубня, между тем даже невооруженному детством глазу было заметно, что он на горшке, а не на подходе к вырождению из себя человека. Таким образом, эти двое отпадали. Приходилось срочно

избирать нового козла группового отпущения, хотя подумать было страшно, сколько предстояло с ним возни и пестования в процессе доведения его до белого каления,чтобы затем смочь направить его разнузданную стихию в русло коллективного откровения, по проложенному им в провиденческом озарении пути выйти к соприкосновению с надсубстанциональным смыслом коммунального уклада. Главное было: из кого его, козла, рекрутировать? выбор предполагает наличие претендентов, тогда как в секретарском горшке явственно проступали пять самоотводов: на Хозяина с чем залезешь - с тем и слезешь; Вязьменская скорее ножку стула перекусит, нежели позволит с собой пошалить; Бутома при мельчайшем намеке на козлиную ситуацию уйдет напрочь, поменяет район, город; Иерихонина в другой раз не то что божьего одувана - Господа Бога сыграет и не перекрестится; Леблядева неожиданно выказала себя с ярко рациональной стороны, такие на наковальне от молота увернутся. Вопрос о козле отпущения жестко встал на повестке дня в полный рост, в то время как сил у группы раз от разу становилось все меньше.

ХОЗЯИН. Алё, матеря, так мы только кадры разбазарим,и ничего больше. Так. Работаем новую игру. Называется "Мама, роди меня обратно". Бутома, функционируешь материнским лоном. Голубня, встанешь у входа заправлять народ. Леблядева,Гастева утереть на скорую руку. Слева по одному - заходи!..

И они зашли в еще так недавно покинутое природнино лоно. В нем все осталось неизменным со дня их расставания с ним, и так же мерно и мирно стучало сверху. Им не надо было объяснять, как пройти куда следует, они ступили в общий поток искателей нового рождения,и тут уже пришлось потрудиться, чтобы не растеряться, несмотря на крепкое держание за руки, - толпа состояла,в основном, из трепыхающихся ровесников, впрочем, кое-где, как дрын в муравейнике, высился народ повзрослее, все были одинаково плотно приперты, заподлицо подогнаны один к другому и подробно ощущали плечо рядом идущего друга. Было легко, как поздней весной на Невском, нигде на свете, как выяснилось, нет толпы, подобной невской: тюркское племя безбрежным рукавом ватной фуфайки мигрирует по разливанной степи, под ногами в цветеньи горькая ковыль, впереди великое перемещение народов, кто вовремя начнет - займет и постоялый двор, и пастбище, и стойло для коня,но пусть он не рассчитывает оставить их за собой: вторая волна всегда настигает первую у берега и так же откатывается следом, смогши унести с собой лишь песок и слегка пошевелив гальку.

Они дошли, и там им, собравшимся скопом,дали понять,что то, чего они желают, не то чтобы невыполнимо, но технически сопряжено с крупными расходами энергии. Они запротестовали в голос, и некоторые заговорили, что выгоднее потратиться на семена и посеять, чтобы собрать урожай, нежели сэкономить на посеве и лишиться всего, ничего не собрав. Но им объяснили, что дело не в расходах, что переделка человечества стоит у вселенной в плане и не мытьем так катаньем будет осуществлена, а дело в том, что человечество плохо переносит крупную энергию: с ним было попробовали поработать на современном уровне развития земной галактики, но видят, что вреда больше, чем пользы. Поэтому, конечно,

дико извиняются, но помочь ничем не могут, разве что могут раздать кому нужно очередную модель будущего человека,испытания которой только начались, так что без гарантии.

Группа вернулась не солоно хлебавши, без мало-мальского признака перемены в ком-либо. Новый человек, модель которого прихватили с собой на выходе, где их раздавали, сразу проявил себя таким законченным подонком, что его безотлагательно выгнали из детсада на мороз и обратно не пустили, ни на йоту не обеспокоившись его участью, будучи в полной уверенности, что такой не пропадет. О приключениях будущего человека в будущем завтра мы расскажем вам как-либо погодя, когда он малость подрастет,чтобы не опасно было ему морду расквасить.

Назавтра в качестве поздравления к празднику репетировали трагедию о Павлике Морозове. Ее коллизию прихватила из вчера Иерихонина: в то время как все присутствовали на кронштадтском мятеже, она несколько сползла в период коллективизации и прошвырнулась по агитпропу. Всеобщее недоумение вызвало режиссерское прочтение образа павликова отца, усугубленное скользким назначением на эту роль Хозяина. Даже Голубня высказался в том смысле, что он поражен:

- Я поражен.

- Тогда что же получается...

- Вязьменская, ну вот опять ты станешь ругаться матом...

- Молчи, сука, сейчас фамилию твою начну оправдывать: ломану посередь лобка - пиздом как иерихонская труба заголосишь. Значит так, папашка Павлушкин у нас вылупляется чистая гидра мировой контрреволюции: рябчиков с ананасами из туфли с шампанским жрал в последний свой день, буржуй недорезанный,кулацкая морда, и стало быть - даешь частную собственность на столбы, все ушли на фронт особистами, "товарищ Троцкий в матроске флотской", и следовательно: Павлушко - бравый ребятушко, мало что донес - надо было сразу в люк папашку, в люк!.. Да не рано ли ты начинаешь трудиться, гад! Все равно до окончания детского сада они тебе ни красной корочки, ни кастета не выдадут!

- Праздник есть праздник, и видимость лояльности придется соблюсти.

- В истории КПСС, Бутома, будешь искать оправдание гастевскому пристрастию шагать по чужим головам? Вы, дурачки, мы же еще маленькие - если что, нам ничего за это не будет!..

- Пока не подрастем.

- Кто вспомнит, Леблядева?

- Желающие дознаться - всегда найдутся.

- А ты что молчишь, Хозяин? Ведь никому другому как тебе играть такого павлушкиного отца!

- А я никакого отца играть не буду. У меня живот болит. Глисты, должно быть. На "Морозова" сверху предписание не спускалось. Сами выбирали. Сам я за всех и отказываюсь, коллективно.

- Вот человек... Страданье лишней порцией английской соли принимает внутрь, лишь бы с вами, стервами, расплеваться. Хозя-ин... Пошли. Двое нас с тобой. Примем по кружке англицкой - и на горшок. Если хочешь - на одном уместимся.

- Ну, может, уже закончим разбивать балаган посреди святого места?.. Что это вы хором встали на защиту отцов? Да если хотите знать, мы, дети, для папашек - средство существования.

- Сутенерская психология у тебя, Гастев.

- Отнюдь. Ординарному папашке для существования себя безумно мало. В одиночку он живо до ручки доходит и только там, за дверями, гребет несколько более в согласии с собой - ему в себя заглянуть не дано, не то что собою жить. Папашкам для жизни в первую голову подавай даже не хлеб с жильем, а чтобы было над кем изгаляться, на кого пары вонючего идиотизма спускать, называя это воспитанием подрастающей смены. Мы для папашек - их вполне экзистенциальная попытка подправить природу в индивидуальном порядке: коли не удалось посредством бабы выродить из себя вчерашнего подонка, остается реализовать последний шанс: семья - вот лаборатория современного алхимика, кующего элексир счастья на земле, - уже потом изошел, весь пополам с дерьмом и хламом, как от лютой пьяни, только от жратвы чуток оклемается - сразу за дело, без воспитания не жизнь, - все они Макаренки, всех под корень вырубать!.. Вязьменская, мочалка, уж чья-чья, а твоя бы молчала. Или, полагаешь, что никому неизвестно, что ты торчишь тут на продленном режиме, чтобы хотя на время и отчасти уберечься от своего отца, потому что ты одна в семье несифилитичка?.. Куда ты отлучался, Хозяин, когда третьего дня милиционерша заходила поссать? не навещал ли опять в больнице Коняшина своего старшего брата, лежащего там с отбитой мошонкой, из-за того что вашему папашке показались странными пятна спермы на постели пятнадцатилетнего мужика?.. Сколько ты себя помнишь, Бутома, чем занимается ваша женская семья, как не сплоченным выживанием очередного временного папашки?.. Как все светло началось, Иерихонина... Отойдя от годовой отсидки, твой папашка наткнулся на Лиговке на свою последнюю до тюряги подругу, которая его знать не захотела. Папашка, натурально, оскорбился весь и метнулся собирать информацию. Информация сказала: "Ты, мудак, рви от нее когти, ей ребенка пыльным столбом надуло". Папашка прикинул по пальцам: "Алё, орлы, да это мой!" Он взял твою мамашку за грудь и сволок в ЗАГС. Но сейчас он - наш участковый, Иерихонина, нельзя скрыть явное для всех, он - участковый милиционер и учится на юридическом в университете... Леблядева, а ведь ты из интеллигентной семьи. У твоего отца - открытый дом где-то вблизи Обводного канала, народ приходит к нему, папашка поит народ чаем и снова ложится в кресла разговаривать с народом, дефилирующим сквозь комнату. Сам он нигде не работает, поэтому никогда не ест. Поэтому же не ешь по субботам-воскресеньям и ты, а лежишь у его ног и смотришь на пьющих чай. Про тебя говорят: "Какая у вас спокойная девочка", а папашка говорит тебе: "Еще не хватает, чтобы и обо мне говорили, что я расходую фондовские средства на семью. Нештяк, перебьешься до понедельника". По супружеской договоренности, на третьи выходные тебя берет к себе в район Морских улиц мать, но она совсем опапашкилась и тоже на фондовых средствах. Так что какие бы причины ни были у Павлика Морозова прижать к ногтю своего папашку, потому что какие-то точно были, не могли не быть, я считаю: прижал? - на́ тебе Героя.

Будь моя воля - Невский проспект в твое имя переименовал бы,незабвенный наш Павлушко, первый из детей, открыто вступивший на военную тропу, вооруженно поднявшийся против старья. Вот почему я предлагаю на эту роль Голубню. Их объединяет много общего.Как и Павлик, Голубня безвинно пострадал, чуть было не будучи закиданным жидким стулом в прошлую пятницу. Как и Павлик...

- Минуточку! Это то есть как безвинно? А кто простынь из-под Иерихониной тягал?

- Никто. Под Голубней простынь всегда как манишка на лорде Честерфильде. Я замечал: Голубня почему-то вещи собой не грязнит. Простынь же Иерихониной и вправду имела желтые разводы с вензелями, но явно декадной давности, - ее грех. Впрочем, ни у кого из вас и в заду не шевельнулось пойти проверить, что вам говорят, так что постельные подробности - лишнее. Вот ты, Вязьменская, обвиняешь меня в пристрастиях к советизму,что неверно, потому что только папашки, осуществляющие свой локальный частный советизм над женой и детьми, являются сторонниками его более общей разновидности. Ребенок же по природе своей - чисто левый и делится на две обычные группы: на тех, кто болтает, и ничего больше, как вы, например, и на тех, кто действует. Вот вы даже не заметили, а я из вас уже партию сформировал, называется "Да Искореним Же Стариков В Жопу". Что вы на это скажете?

Тут Гастев в качестве партийного лидера без дальнейших разговоров был бит. Затем все отдыхали.

Трагедию о Павлике Морозове давали назавтра, в преддверии праздника. Перед приглашенной за надобностью взрослотой развернулась картина не оправившейся от революции деревни. Где-то по средней полосе России скакала через овраги на лошади врачиха от молодой советской власти в помощь коллективизации. А там, кстати, мужики покупали корову. В соседнюю деревню за ней поехали на тракторе - иначе никак, столько снегу навалило. Однако на следующий день одного из мужиков не досчитались. Видно,на обратном пути на ночь глядя его обронили из кузова трактора, где он проветривался после покупки. Впрочем, корова прибыла в наличии. Собственно, не хватись мужика его баба, он бы еще долго пасся единоличником в полях, поскольку корова была в целости. Бабий крик не остался без резолюции. Колхозным миром решили: надо искать. С трактора же выпавшего мужика выгрузили в его землянку - нашли. Тут и докторша под ногами топчется, очень вовремя. Озябший за ночь лежания в снегу мужик, подрыгавши толику времени от домогательств докторши, совершенно ожил, принял посудину за глаза и послал врачиху к советской власти. Вот каков был Морозов Павлов отец. Нелегко пришлось мальчику.

Публика была в восторге. Между тем в актерской среде нарастало беспокойство. Давала себя знать недисциплинированно проведенная накануне генералка. В сцене экспроприации коровы (завязка пьесы), там,где Морозов-отец (исполнитель Хозяин) дрессирует корову, чтобы та не давала себя доить никому, кроме частного сектора, Богомольствующий Странник И Убийца (исполнитель Гастев) сценическим шепотом - из угла рта - обратился между текста к исполнительнице роли Коровы Леблядевой:

- Ты чего это, сковорода, хвостом-то не мотаешь? У меня,может, на твоем хвосте полсмысла держится... И-и, родимец,да куды ж мне в такую оглашенную рань иначе как по Божьему делу волочиться? Чай, на тракторе до ближайшей Лавры не подбросишь... Ты мотай хвостом-то, мотай, ишь, вымя распустила...

- Снова я чего-то кому-то должна. Навостри вон хобот свой да и махай им сам... Му-у, отбрыкни от меня любой, даже ты: Мужик На Тракторе, не суй клешню куда не просят, никого мне не велено под себя допускать - пользуетесь тем, что Хозяин на заднем дворе занят, потому что Павликом гвозди в забор заколачивает? - отъебись!..

Масла в огонь подлила опять не доскакавшая до советской власти Врачиха (исполнительница Иерихонина), которая второпях перепутала своего коня с чужой коровой.

Групповое недовольство Леблядевой достигло своего пика как раз в кульминацию пьесы, когда Морозов-отец задаивает корову до смерти в наказание за то, что не устояла перед коллективистскими притязаниями Мужика На Тракторе (исполнительница Вязьменская), - структурно очень важное место, последняя капля,переполнившая чашу причинности, дальше - благородный поступок мальчика (развязка).

- Почто вывернули великомученицу совершенно наизнанку? Насильничают над животиной,прямо как над людьми. Нет того, чтобы понять провиденческое великодушие, снабдившее человека кем-то в окружении, кто в отличие от царя природы не похож на сломанные ножницы.

- Возмутительно. Всегда находится один, кто сопротивляется общей участи.

- Алё, кончайте отсебятину гнать: публика от онемелости дрищет.

- Нет, но понятно: Леблядева хочет нам показать, что все мы - старые вешалки в витрине: во что ни прикинут,то и продаем. Но зачем же так явно? - нехорошо... А застегни, застегни кольцо ей за половую губу и защелкни. Сейчас я только филейную часть из нее изыму, а остальное жидам в Измайловском саду скормим.

- Слышь, чего говорю, Гастев, - а ведь это я тогда под Иерихониной простыню поменяла...

- Да и в рот поклади ее, нашла время для исповеди, дура... Павличек, ну зачем ты так, может, не будем, а? Знаешь, я такой: мне умочить ребятенка - два пальца обоссать с пары пива.

- Вы как хотите, а я одного не могу понять: кочевряжимся вместе, - все в гнилой калоше тухнем, - как же Леблядева нас на себя и других различает? Или только потому что другие, все осознавши и готовенькие, расписываются двумя руками в том, кто они из себя есть, а она напротив своей фамилии крестик ставит, не умея или не имея сил прочитать, что там про нее написано.

- Мать, ты что? - совсем озверела, лица не видно. Так по пузу присандалила, промахнись чуток - мальчишка просто б умер.

Незадолго до финала спектакль был прерван: исполнительнице роли Морозовой Бабы Бутоме слегка порвали пасть.

После спектакля было объявлено, что ввиду отсутствия деторождаемости в микрорайоне детсад в Благодатном переулке отдает-

ся под воинскую часть,а наличный состав детей расформировывается куда придется.

Вязьменская сказала Гастеву:

- Ведь мы совсем с тобой не знакомы, тебя только в этом году к нам завезли. А помнишь, когда тебя втолкнули,ты так рыдал, что подошел к книгам и с горя прочел название одной. Помнишь, ведь это я тогда кричала: "Новенький мальчик читать умеет, новенький мальчик читать умеет!" А ты знал, что наш сад прикрывают, да?

Хозяин сказал Гастеву:

- Принял решение: на базе будущего моего детсада на 2-й Красноармейской образую филиал твоей орденской лиги Да Искореним Же Стариков В Жопу. С твоим будущим садом на Смоленской поддерживаю связь гравитацией.

Гастев сказал Бутоме:

- Расстаемся. Прости, Лена, ты сильная и одна сможешь понести наше дело. А Леблядеву нужно поддержать. Ты должна понять. Наш с ней будущий детсад на Смоленской - твердый орешек.

Вечером последнего дня перед отбывкой ко сну Голубня попрощался со всеми за руку. На вопрос Иерихониной,почему он так официален, Голубня ответил, что, пожалуй, умрет к утру. Иерихонина пообещала ему в случае успеха начинания сплести венок на голову. Однако ближе к полуночи Иерихонина присела на голубневую постель:

- Хочешь попробовать в одиночку?

- Да, может, мы не с того конца начинали?

- Полагаешь, через смерть есть лаз?

- В принципе, один раз этот ход сыграл, - говорят,малый стал совсем другой.

- То ли стал, то ли нет. Но он и был,говорят,не от мира сего.

- А от мира того, о котором говорят.

- Я бы хотела тебя еще когда-нибудь встретить.

- Где ты предпочитаешь?

- Я бы предпочла здёсь все-таки.

- Успех в наших общих интересах.

- Якобы.

На рассвете группа проснулась оттого,что Голубня похолодел. Подождали некоторое время, затем постучались к Голубне, так как стали волноваться. Но Иерихонина сказала:

- Не будите его. Если не возвращается, значит, он не хочет к нам.

Голубню обмыли как могли, потому что слышали, что так полагается, хотя он был совсем чистый. Вязьменская раскрасила его, чтобы он стал красивый, проколола голубневое ухо и вдела серьгу. Одевать не стали. Иерихонина, как обещала, сплела венок из фикуса. Леблядева плакала. Бутома исполнила танец. Хозяин и Гастев салютовали Голубне, побив все стекла в спальне. Так что,придя, взрослые могли лишь забрать тело.

Юрию М. Меклеру 32 года, по образованию - филолог и режиссер, из Ленинграда. Уехал в 1978 году и сейчас живет в Западном Берлине.

Юлий Марьин

СТИХИ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

ИСТМАТ

На смену одной общественно-экономической формации приходит другая общественно-экономическая формация, более прогрессивная.

Краткий философский словарь

Мы открывали Маркса каждый том.
Но не в пример никчемным книгочеям
Мы и без чтенья разбирались в том,
Каким себя подковывать ученьем.

Бреши, Фурье! Присказывай, Бабеф!
Не грезы массам, не прожекты массам -
Пускай тучнеют в классовой борьбе
Идеи, жирно сдобренные маслом.

Не Робеспьер в Конвенте
длань воздел
И не Бурбон в карете,
мерин сивый, -
В суровой производственной узде
Храпят производительные силы!

Их норов крут, упорен и упрям,
Их не сдержать вершителям плешивым,
Они промчат по рытвинам и пням
И донесут к сияющим вершинам.

Ликует Рим. Торжественно гремит
Трильоном рук широкая арена.
Лукуллов Рим, пресыщенный квирит,
Хмельное чадо Ромула и Рема.

Лакает Рим! Идут - за годом год,
За пиром оргия, попойка за загулом,
Но вот они, грядут! - за готом гот,
Алан за вандалом и гунн за гунном.

В их жадных чревах булькает кумыс,
В их хриплых глотках замер вой гиений,
В их низких лбах - и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений.

Их вождь багроволиц и плоскоскул,
Их скакуны костисты и косматы,
Сейчас они на бешеном скаку
Преподадут векам урок истмата:

Ворвутся в город, храмы запалят,
Снесут дворцы, разгонят педерастов,
Патрицианкам ляжки заголят,
Загадят Форум и отменят рабство.

И там, где расцветал "Сатирикон",
Взойдут, как сорняки, неодолимо
Поганые костры еретиков -
Победные огни феодолизма.

Спешите, монстры! Дел невпроворот.
В руины термы! Под конюшни рынок!
На сруб сады! На слом водопровод,
Сработанный еще рабами Рима.

Пылает Рим языческим костром.
Стекают в Тибр потоки грязи с кровью.
Вот так
приходит
прогрессивный строй
На смену загнивающему строю.

16.10.71

декабристы

Узок круг этих революционеров,
страшно далеки они от народа.



Творители напраслины,
Кобыльи языки
Вопят, что Стеньку Разина
Забыли мужики.

Мы эдаким вопителям
Поведаем в отпор,
Как строили мы в Питере
Исаковский собор.

Нагнали нас, ребятушек,
Печорских да псковских,
Кто черную работушку
Печенками постиг,

И долюшку херовую
Исправно матеря,
Задули мы хоромину
Во здравие царя!

Так, Боже,царя храни -
Буйный, шалавый.
Рыкни, да рявкни,
Да царствуй со славой,
Царствуй, царствуй,
Царствуй со славой!

Эх, жись наша свинячая,
Доколь нам бедовать?
Тут ихние сиятельства
Решили бунтовать.

На площади застуженной
Мундиры мельтешат,
Бестужевы солдатики
Убитые лежат.

Ну, - думаем, - ни за́ хуя
Попали мы во щи,
Пустили мы Исакия
По бревнышку в ощип,

Не лезьте, шавки царские,
Охоту отобьем
Не шапками да цацками -
Каменьем да дубьем.

Но только, Боже, царя храни, -
Видно, не слабый,
Рыкни, да рявкни,
Да царствуй со славой,
Царствуй, царствуй,
Царствуй со славой!

На площади сумятица -
Ложись да не блажи,
Тут ихние сиятельства
Сложили палаши,

И нашенских защитников
Загнали в рудники,
А пятеро зачинщиков
Сыграли в рундуки.

А нас за это дело
Удостоили по сраке,

А мы портки надели
И достроили Исакий.

Каменья да дреколины
Положили назад
И фертами-глаголями
Украсили фасад:

Гос-
по-
ди,
си-
ло-
ю
Тво-
е-
ю
воз-
ве-
се-
лит-
ся
царь!

Так, Боже, царя храни, -
Радость с усладой,
Рыкни, да рявкни,
Да царствуй со славой,
Царствуй, царствуй,
Царствуй со славой!

13.04.69

большевики



Жил-был Миколка, самодержец всёй Руси,
Хоша на рыло был он малость некрасив,
При ем водились караси,
При ем плодились пороси, -
Ну, в общем, было чего выпить-закусить.

Но в феврале его маненечко тово...
Тады всю правду мы узнали про ево:
Что он жидочиков громил,
Что он рабочих не кормил,
Что не глядел он дале носу своево.

Жил-был товарищ Сталин, родный наш отец.
Он строил домны, строил ГЭСы, строил ТЭЦ,
При ем колхозы поднялись,
У лордов слезы полились,
Капитализму наступил тады пиздец!

Но тут кормилец наш негаданно тово...
Тады всю правду мы узнали про ево:
Что он марсизим нарушал,
Что многих жизни порешал,
Что в лагеря загнал он всех до одново!

Жил-был Микитушка, сам ростиком с аршин,
Зато делов уж больно много совершил:
При ем пахали целину,
При ем пихали на луну,
При ем дорвались до сияющих вершин!

Но в октябре ево маненечко тово...
Тады всю правду мы узнали про ево:
Что он с три хера накрутил,
Что он Насера наградил
И что свербило, дескать, в жопы у ево.

А мы по-прежнему всё движемся вперед.
А ежли кто-нибудь случайно и помрет,
Так ведь на то она история,
Та самая, которая
Ни столько,
ни полстолька
не соврет!

16.01.65

александр сергеевич, разрешите

* * *

Выстрел - и сник в снег.
(Злобится царь-супостат).

Ну-ка смекни, генсек,
Может быть, дан старт?

Род стукачей рад,
Гад-Бенкендорф горд.
Ханщина. Мрак. Смрад.
Тридцать седьмой год.

6.12.70

* * *

Зеленейшую из бумазей
Расстелила Россия, раздобрясь.
Поутру в ее шоу-музей
За автобусом катит автобус.

Как лелеет сыскную корысть
Дальнозоркая оптика ФЭДа!
Как нам хочется тайно накрыть
Поднадзорного баловня Феба!

Чтоб взбивал ему пену вихров
Вдохновения шепот утробный,
Чтобы он до седьмых петухов
Проамурился с Анной Петровной,

Чтобы, дав поразмяться крестцу,
Прошвырнулся бы с ней для показа,
Чтобы с заднего хода к крыльцу
Подавали б донского Пегаса.

И по кругу кружа без конца,
Чародейства Творца Всеблагого
Ищем в призрачном скрипе крыльца,
А не в трепете крыльев глагола.

Оттого ли, что наши слова -
Мукомолье, дела - рукомойня,
Стала пряной твоя синева,
Лукоморье?

Здесь петух красноперый дурил,
Здесь орел кукарекал фашистский, -
И болтливые поводыри
Нас ведут от фальшивки к фальшивке:

Ворох пряжи, икона, свеча,
Сосен шапки, усадьба, часовня,
Воля, право, законность, печать,
Совесть, шамкающая спросонья,

Миролюбье с гнильцой на корню,
Благоденства бесплодные ульи -
Все не подлинно в милом краю,
Кроме Гения,
строчки
и пули.

11.09.76

Марьин живет в большом городе. Каждое утро, когда на улице еще темно, он встает и идет на работу. Сначала он втискивает свое тело в трамвай, переполненный народом, потом поток вносит его в большое здание института. Дверь за ним закрывается, и он остается пленником до самого окончания работы. Взойдет солнце, которого Марьин не увидит, осветит красивый старинный город, реку, парки... Потом снова стемнеет. И тогда толпа вновь выплеснет Марьина на широкие улицы, опять втиснет в трамвай.

И был бы уныл рассказ о Марьине, занятом целый день нелюбимым делом, если бы Марьин не был поэтом. В трамвае, дома, на улице, на работе сочиняет он стихи и песни. Нужно ему писать формулы - считать цифры, а у него получаются песни. И поет его песни половина жителей старого города.

Иногда у Марьина возникает счастливая возможность: его друг, врач одного санатория, берет его к себе в клинику на недельку. Наступает тишина и покой - можно писать, и никто не заглянет к тебе в листок. Есть еще у Марьина ночь - его ночь.

Привет тебе, дорогой Марьин, от твоих друзей.

Л.Б.

Вадим Делоне

СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

А. Хвостенко

Есть воля, есть судьба, есть случай странный,
Есть совпаденье листьев на земле,
Есть совпаденье мелочи карманной
С ценою на бутылочном стекле.

А власть поэтов, словно прелесть женщин,
Изменчива, и сразу не поймешь,
Чего в ней больше - фальши или желчи,
И что в ней выше - смелость или дрожь.

Москва, 1975

* * *

Перезвоны городских трамваев,
Ветер в спину, Вена, вензеля.
Счастье в том, что мы не угадаем,
Что нам можно, а чего нельзя.

Счастье в том, что будущего нету,
Счастье в том, что прошлое в крови,
Только в лицах встречных мало свету,
Только трудно с ними говорить.

Только мыслям некуда приткнуться,
Словно нищим в круге площадей.
Только утром тягостно проснуться
Без надежды увидать друзей.

Перезвоны городских трамваев,
Ветер в спину, Вена в вензелях.
Мы еще словами поиграем,
Как с судьбой играют на костях.

Вена, 1975

* * *

Тени синью набрякли,
Словно вены в запой.
Здесь кварталы, как грядки,
Как шитье с бахромой,

И фонарные блики
Поплавками в воде.
Может,Петр Великий,
Это снилось тебе?

Триумфальные арки
И безглавый костел...
Разлинованным парком
Не пойдешь на костер.

Все мы правды просили.
Я к возмезьям привык
И бреду от Бастильи
Прямиком к Репюблик.

Париж, 1980

ОТЪЕЗДНАЯ АНТИСЕМИТСКАЯ

Последний раз шагаю по Арбату...
Кто виноват - евреи виноваты,
Открыли, гады, выезд на Синай -
И вот прощай, родимый край.

Ко мне с утра звонит майор с Лубянки,
Мол, собирай ушанки и портянки,
А мы, родную партию лелея,
К жидам отправим даже нееврея.

В последний раз дойдем до Гастронома,
Пусть нет квартиры, дачи или дома,

Я б эту визу продал за полбанки
Майору с нашей доблестной Лубянки.

В последний раз стоим мы в бакалее,
Кто виноват - конечно же евреи,
Они всегда в неладное суются,
То за кордон, то в пламя революций.

В последний раз нажремся на таможне,
А дальше пить придется осторожней,
А то проснешься утром на Бродвее:
Кто виноват? - конечно, иудеи.

Шереметьево, 1975

ИСТОРИЯ

о том, как герой французского Сопротивления Арман Малумян после войны поехал с родителями на историческую родину в Армению, чем это путешествие закончилось и почему Арман Малумян требует компенсации у Брежнева.

Я жил у мамки с батею
В Париже как-никак,
Зубрил "про демократию",
С лимоном пил коньяк.

Гулял себе аллеями
По саду Люксембург,
Но немцы - змеи змеями,
Затеяли пургу.

Войной не обездоленный,
Я взял оружье сам,
Поскольку недоволен был
Проверкой по хуям.

Попала пуля в голову,
Но вот им хуй с приправою,
Чуть не руками голыми
Мы дрались с их державою.

Войну закончил лихо я -
До жопы в орденах,
Да ран - десяток с нихуем
В башке и на мослах.

Известнейшим лепилою
Был мой родной пахан,
Вот тут и потащило нас
По дури в Ереван.

Там, как удар по темени -
Все бляхи посшибали,
Поймали, бля, в Армении
И чуть не разменяли.

Учли, бля, положение,
Рядили так и сяк
И в виде одолжения
Всучили четвертак...

Накроешься обмотками,
Друг дружку греешь спинами.
Года у всех короткие,
Срока,однако,длинные.

По-русски научился я
На азбуке блатной,
И очень быстро слился я
С тюремною братвой.

Гремел в метели ребрами,
Мудохал стукачей,
Страны изменник ебаный,
Неясно только - чьей.

Бросали в ледник карцера
И брали на прицел...
И все же я во Францию
Вернулся жив и цел.

Теперь живу по-прежнему -
Армянский крепок хуй,
Шлю ксиву прямо Брежневу,
Возьми и поцелуй.

Париж, 1980

Борис Иванов

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАРАДИГМЫ

"Когда увидел на дереве птицу, ранее виденную мною только в зоологическом саду, первою моею мыслью было, что она улетела из клетки".

Самерсет Моэм

вторая литературная реальность

Стихи, отпечатанные на машинке, кочующие из рук в руки, невероятно обнажены. Может быть, поэтому поэты стараются облекать свои сочинения в самодельные переплеты и читать вслух: голос поэта принуждает внимать, а этика - скрывать равнодушие слушателя. Или вежливо выражать признательность... Славное время! Трудное время! Где проводник и где садовник! Дикая куща российской поэзии.

Критика подобной поэзии еще более безосновна. Что касается меня, то, слушая на литературных объединениях - в этих "салонах отверженных" - произведения *безусловно художественные*, я испытывал каждый раз изумление: в создании произведений, которые не имели шанса появиться в печати, быть оплаченными гонорарами и той славой, которая, по меньшей мере, убеждает поэта в духовно-социальном значении его творчества, участвовала *дивная сила*.

Не хочу "дивную силу" мистифицировать, но не всегда дано так воочию увидеть соорганичность поэзии человеку и человечеству. Словно пробит колодец - и срез за срезом минуешь многомудрые и многосложные определения поэзии: "труд","ремесло","долг", "служение", "профессия", "культура", "традиция"... - перед тобой человек, который не может не витийствовать.

Вот это обетование поэзии в поэте, когда культура и бессознательное открывались в своем единстве уже тем, что эта поэзия продолжала и продолжает существовать и образовывать новую реальность с трудно улавливаемой, в силу своей необычности,перспективой, вызывало изумление как перед фатумом, с той разницей, что этот фатум не анонимен.

"Критика поэзии - вещь невозможная", - писал Новалис. Она невозможна и для меня,поэзию можно лишь попробовать понять.В сущ-

Статья из самиздатского журнала "Часы" № 6 (Ленинград).

ности, моя критика не может быть не апологетической,в своем выборе поэта она уже заявила о себе: в поэзии Виктора Кривулина я вижу для себя больше возможностей выразить свою сопричастность к тому, что называю новым культурным ростом. Метаморфозы этого роста в поэзии Кривулина высказывались, по-моему мнению, наиболее глубоко и проясненно, хотя было бы ошибочным усматривать в творчестве поэта ее полное выражение.

Виктор Кривулин - не первый и не единственный во "второй литературной реальности" (выражение самого поэта). Напротив, он понимает, что вторая литературная реальность явилась основным фактором его творческой биографии, он развивался внутри нее и рядом с другими - "с другими клятвами родства".

Провести границу между "первой" и "второй" литературой трудно. В. Соснора, А. Битов, В. Попов, О. Охапкин, Д. Бобышев,А.Морев и многие другие время от времени публикуют свои произведения, но они известны и как авторы "второй" литературы. Публикации - часто адаптации, а иногда попросту варианты их произведений.

При первом же подступе к теме - высказать понимание поэзии В. Кривулина - возникло убеждение: употребляемые в настоящее время методы критики неудовлетворительны - ни "идейно-художественный", ни структурный анализ, каким он поставлен на ноги стараниями Ю. Лотмана и его последователей. Неудовлетворительность первого в том, что этот метод исходит из веры в некоторый канон поэтического произведения и, в конечном счете, веры в те или иные авторитеты, не имеющие часто вообще никакого отношения к поэтическому творчеству. Неудовлетворительность второго метода в том, что справедливо полагая, что художественное произведение есть некое целое и задача критики - в выявлении законообразующих его,структурный анализ упускает из вида то, что художественное произведение - это выражение выбора и веры. Необходим такой подход, который бы позволил снять противоречие между этими двумя методами критики в более широком,синтетическом подходе.

Критика должна допустить существование поэтики в более широком горизонте, чем конкретное поэтическое произведение, творчество конкретного поэта и искусство вообще. Этот горизонт в работе определяется как *миф*. Объективность мифа в том, что он конституирует основные *ценностные* отношения в практике человека, группы, общества: являясь продуктом человеческой деятельности, миф одновременно служит для нее образцом. Но поскольку действительность мифа - вера в его истинность,постольку онтологический и психологический его аспекты, а также специфический гнозис не могут быть исчерпаны анализом так называемой "объективности".

Подход к поэзии как мифологическому образованию оправдан тем, что между мифом и любым конкретным художественным произведением может быть выяснена связь как между системами ценностей, что позволяет не только воспринимать произведение на основе "общего языка", но и выявлять этот более широкий смысл как имманентную возможность поэтического языка "замкнутого художественного произведения". Иначе говоря, именно то, что каждое произведение конституирует свою целостность как систему ценностей, делает его независимым от феноменологического плана (исторического времени и ситуации) - ассоциативный момент развязан.

Средним термином мифа и художественного произведения является *парадигма выбора*, устанавливающая иерархические ценностные отношения между тремя реальностями: *природы*, *социума*, *личности*. Перемены в этих соотношениях раскрываются как существеннейшие моменты культурного процесса. Парадигмы выбора дают ключ к пониманию того или иного художественного произведения. Выявление парадигмы выбора поэта позволяет, не указывая на социальную ценность произведения (популярность), исследовать *процессы культурного движения*.

Все ссылки в этой главе производятся на стихотворение "Я Тютчева спрошу: в какое море гонит" - первое стихотворение в композиции Виктора Кривулина "Музыкальные инструменты в песке и снеге". Оно приводится полностью ниже.

Я Тютчева спрошу: в какое море гонит
обломки льда советский календарь?
И если время - Божья тварь,
то почему слезы хрустальной не проронит
и почему от страха и стыда
темнеет большеглазая вода,
тускнеют очи на иконе?

Пред миром неживым в растерянности, в смуте,
в духовном омуте, как рыба, безголос -
ты; взгляд ослепшего от слез,
с тяжелым блеском, тяжелее ртути...
Я Тютчева спрошу - но мысленно, тайком:
каким сказать небесным языком
об умирающей минуте?

Мы время отпоем - и высохшее тельце
покроем бережно нежнейшей пеленой.
Родства к истории родной
не отрекайся, милый, не надейся,
что бред веков и тусклый плен минут
тебя минует - веришь ли, вернут
добро исконному владельцу.

И полчища теней из прожитого всуе
заполнят улицы и комнаты битком,
и - чем дышать? - у Тютчева спрошу я,
и сожалеть о ком?

"и если время - божья тварь"

Стихотворная композиция Виктора Кривулина "Музыкальные инструменты в песке и снеге" поразительна по смещенности смыслов и по новой их организации. Такой термин,как "минус-прием", по существу или не говорит ничего, или слишком много. Смещение открывает не "обратный" смысл, а новый, именно открывает в проглядывании насквозь времени тривиального,"календарного". Минус-прием лишь снимает этот покров обыденных знаков и смыслов.

Можно назвать десятки имен неофициальных поэтов и прозаиков, задача которых этим и исчерпывалась: приведением злободневности к абсурду, к нулю - новые обериуты, "маразм-арт".

В композиции В. Кривулина скептическая редукция есть, но этим духовный мир не исчерпывается, более того - ее нет в способах выражения, скептицизм присутствует лишь как итог. Таким образом, делается духовно-логический шаг вперед к *свободе от абсурдистики*, иронизма, сарказма, нигилизма. В скептической тенденции время было лишено движения к какому-либо смыслу. Так например, в маразматическом опусе:

Сухарев ел баранину.
Сухарев ел баранину.
Сухарев ел баранину, -

время остановилось. Членение его до бесконечности не позволяет обнаружить каких-либо изменений, что могло бы стать его мерой и, соответственно, *ориентиром*. Завершенная деструкция - конечная точка этого движения.

И в целом так называемая "молодая литература" началась с того, что непосредственные переживания предстали в качестве замкнутых монад и членов деления бытия.

В первом же стихотворении композиции В. Кривулина "Я Тютчева спрошу: в какое море гонит обломки льда настольный календарь" вопрошание о смысле времени *самого времени* - центральный мотив, категориально связанный со смыслом существования поэта. Априори поэта - убеждение: время связано с сущностью бытия, именно оно позволяет отнестись к нему аналитически и расчленить на время подлинное и неподлинное, содержательное и пустое.

И - чем дышать? - у Тютчева спрошу я,
и сожалеть о ком?..

Время (и безвременье) как лирическая тема указывает на тип лирики: *философская*. Точно устанавливается адрес обращения: поэт-философ Тютчев. Значительность происходящей внутри культурного роста метаморфозы поймет каждый, если учтет, что негативное рассмотрение мира исходило из отвращения к философии вообще, в которой предшественники поэта, то есть те, кого Кривулин духовно продолжает, не находили ничего, кроме пустого высокомерия. Каждое обобщение, если оно претендовало на всеобщность, приписывалось чудовищам, виновным во всех несчастьях мира подлинные ценности лежали под ногами, цель - в способности и в готовности непредумышленно отдаваться впечатлениям и порывам. Роль интеллекта, в лучшем случае, - репортаж о непосредственно происходящем. Потрясающее житие Рида Грачева - а именно его следует считать одним из родоначальников второй литературы - есть преобразованный в непредумышленность *образ жизни:*

Среди растений
стриженных в кружок
среди прямых
и на ногах стоящих,
наклонное
прозрачное,

дружок,
лишь ты еще
подобно настоящим.

Растения
предохраняют тут
от бесконечных повторений,
от преждевременных потуг,
от преждевременных рождений.

Я слышу крик
твоих наклонных рук,
я жду твоих
волшебных превращений,
я *падаю*,
я твой
наклонный друг, наклонный друг
наклонных ощущений.*

У мира нет другой меры, кроме переживания мира *мной, сейчас и здесь*. И как следствие этого: сила переживаний, интенсивность как идеал самого переживания. Через интенсивность - самоощущение себя как ведущего неложный образ жизни. Иначе говоря, не обобщение, а "наклон" самих переживаний (до "падения") - такова единственная мера существования, которая усматривалась в возможности *мига*. Постижение этого способа жизни, который при поверхностном взгляде представляется элементарным, на самом деле было сложно развивающимся бунтом против недостоверности, обыденности, как злободневной ее фактичности, так и мировоззренческих ее априорий, которые расшифровывают эту обыденность не иначе как "замечательную".

Если экзистенциальная** революция в Европе развивалась на развалинах общих "объективных истин", институированных в государственности и церкви, то в России смерть обожествленного человека, а затем обнаружение преступности его с любой точки зрения:

**Стихотворение написано в 1961-62 г.г.* (Здесь и далее примечания автора статьи.)

***В термине экзистенциализм можно усмотреть три основных значения: 1. Экзистенциализм как скептическая редукция, высвобождающая человека от концептов отчужденного понимания: национальных, сословных, религиозных, государственных, натуральных критериев. В итоге редукции человек открывается как конкретный индивид, погруженный в бытие. Помимо реальности природы, социума, выявляется новая личность. 2. Описание индивида с точки зрения постоянных его опыта: тревога, страх, заброшенность, неповторимость и т.д., потребность Бога, стремление к господству и т. п. Неидентичность этих позитивных описаний личности есть, в сущности, типология личностей. 3. Экзистенциализм - идеология, миф, в котором ценность личности занимает высшее положение по отношению к другим реальностям, с соответствующими правом, моралью, искусством, особым пониманием ответственности, судьбы, свободы и т.д.*

закона, культуры, семьи, товарищества, партийных традиций - повергли многих в глубокие скептические размышления. Теперь мы можем высказать мысль, которая способна вызвать недоумение - Иосиф Джугашвили ("Сталин" - лишь форма,покров) и был тем великим *нигилистом*, который предуказал пути отрицаний и тотальных сомнений, в объективных истинах он явился сверхфактом духовной истории, которая не могла, хотя бы на некоторый период,не стать скептической.

До тех пор, пока существование вне общеобязательных истин интуитивировалось как единственно верный способ бытия, до тех пор, пока происходило *открытие мира* таким, каков он есть, а не таким, каким он должен быть и каким должен представляться, до тех пор, пока совлечение покрова требовало решимости, а ускользание от пошлости - осознания себя как самоценности,до тех пор, пока доводы против господства общеобязательности еще лишь отыскивались, а лежащее в плоскости чувственно-достоверного блестело новизной, - это духовное движение было неотделимо от *творческости*, и именно оно и дало начало новому культурному росту,охватившему, как пламя в сухом лесу, в течение одного-двух лет всех, кто прикоснулся к посвященным в сущность этого никем и никогда не сформулированного движения.

Фактически, его позитивным кодом была не мысль - мысль выполняла лишь вспомогательную роль,- а освобождение. Позитивное таилось в тоне, "наклоне" чувств, в одежде, в реакции на внешнее суждение, в максимализме чувственного. И неотвратимо должно было завершиться, если в какой-то миг не изменяли ему, *эротизмом, спиртизмом* (от слова "спирт"). И не случайно нынешний "Сайгон" толпится возле кофеварочной машины. Многие из тех, кто подавал блестящие надежды, оказались в финале этого движения безнадежными бездельниками, и хотя ими создано великое множество текстов,эти тексты в большинстве своем лежат за пределами какого-либо художественного значения - или на грани выраженности и невнятицы.Но движение создало ту устойчивую страту,которая,продолжая существовать,сохраняет образ жизни,хотя, как теперь уже можно заключить, ее существование перестало быть знаком культурного роста*.

Нынешнее "подонство",как бы ни третировалось оно, позволяет понять следующее: каждое истинно культурное движение не есть иллюзорное (книжно-мечтательное), оно открывает новые возможности *быть*, то есть оно бытийственно достоверно. И честный исследователь всегда найдет некоторые нормы, которые таятся даже под декларируемой ненормативностью.

Эти нормы, в той или иной степени развитости и реализуемости, полагают такой способ жизни, который независим от: 1) массовой информации (газет, радио, собраний и т.д.), 2) организа-

---

**Эта страта и образует контингент "потребителей" второй культуры,внутри которой произведение как творческий эксперимент становится экспериментом социальным. Глубокая связь явлений второй культуры со своей средой сообщает относительную синхронность в их взаимодействующем развитии.*

ционности (нечленство, незавербованность), 3) устойчивых форм быта, 4) профессионализма (стремление получить "правильное" образование, найти "интересную работу" и т. д.). При всем том, что окружение нетерпимо относится к отклонению от тех предписаний, которых оно само придерживается, новый образ жизни доказал, что он *возможен* и, более того, что он подобен отрезку маршрута, который преодолевает каждый индивид, уходя на социальную периферию. Индивиды социальной периферии уже стали компонентом злободневности, уже вписаны в круг хотя бы личного общения со всем социумом, и уже поэтому база безличных, "объективных" истин, а стало быть, схем отчуждения личности от конкретного и достоверного опыта своего существования, оказалась суженной.

Второй парадокс: полагание истины в *мигах, переживаниях, в непредумышленности* завершилось - об этом свидетельствует не только творчество В. Кривулина - *философствованием,* ибо отказ, в свое время, от философии и деструкции был формой тотального *скептицизма.* Но - "скептицизм лишь первый шаг умствования" (Пушкин). Возникло явление знаменательное: возникшее в конце 50-х годов движение стало развиваться само из себя, сообразно законам культуры, внутри своего собственного *времени,* с другими точками отсчета и именами. *Это движение не может быть описано в социологических терминах и на основе причинно-следственных социальных детерминант.* Суждение "если - скептицизм, то, следовательно, философствование" не является принудительным законом для индивида. Мы не можем найти ту конкретную социальную страту, которая бы взяла на себя философствование как обязанность или привилегию. Это не особое поколение с философским психо-интеллектуальным складом и не результат изменения ситуации.

...Культура начинается с *факта,* а точнее, с права на факт: пережить, описать, осмыслить. Факт значительнее, фундаментальнее, чем всякая интерпретация и, следовательно, чем всякое заявление и оценка, как бы основательна она ни была. Иначе говоря, бытие всегда остается открытым, что, в частности, проявляется в том, что скептическая редукция остается *постоянной* внутри этого движения, скептицизм не позволяет этому движению застыть. Внутри него критике подвергаются среди прочего и неохристианство, и неофициальные художники и поэты, и демократы. Позднее возникает отбор суждений и оценок, но для культуры их признание не заслоняет *предмет переживаний и мысли.* Всякая претензия "дать исчерпывающую оценку", замкнуть реальность в интерпретации, исчерпать ее программой действий и придать отношению к ней прозрачность и непротиворечивость инструкций, является неубеждающей. Напротив, культура *должна постепенно прорываться сквозь* интерпретации к "голому факту". Но это уже *позиция, тип видения,* и это уже контуры морали: независимости, неавторитарности, права на личную *"тему",* готовности к такому способу жизни, при котором гарантом служит лишь собственный духовный риск и верность "своему предмету".

Таким образом, движение к непосредственности, к очевидностям существования при всей сложности и противоречивости внутренних мотивов, неоднозначности индивидуальных задач было *выходом к опыту.* За 10-15 лет было конспективно повторено в сознании тех,

кто отстаивал право на факт, общеевропейское движение XVI-XVIII вв: высвобождение опыта из раз навсегда данных интерпретаций, доверительное отношение к чувственно-непосредственной достоверности и провозглашение примата "естественности", утверждение независимости разума индивида, которое в сфере права было позднее закреплено в так называемых "конституционных свободах". Герцен характеризовал это движение в следующих выражениях: "практически-философское воззрение на вещи не наукообразные, не имеющие произнесенной теории, не покоренные ни одному абстрактному учению, ничьему авторитету, - воззрение свободное, основанное на жизни, на самомышлении и на отчете о прожитых событиях. Воззрение это стало просто и прямо смотреть на жизнь, из нее брало материал и совет; оно казалось поверхностным, потому что оно было ясно, человечно, светло..." (А. Герцен "Письма об изучении природы").

Как в кинематографе, мелькнули раблезианские мотивы (повесть О. Григорьева "Летний день"), упоение очевидностями бытия в "Адамчике" Р. Грачева, в поэзии Глеба Горбовского, в живописи Э. Зеленина, "руссоизм" первых рассказов и повестей А. Битова. Это движение в России еще не привело к институциализации культуры, но оно создало субъекта культуры.

Виктор Кривулин наследует другой отсчет времени и выражает другой тип видения. Его композиция начинается там, где злободневное время стало пустым. Злободневность бессущностна и бесформенна, ее феноменология: "вода", "жидкость" - нечто бессмысленно текущее. Погруженность в эту бессущностную реальность и есть то, из чего рождается вопрошание о сущности бытия, рождается из страдания, из неподлинности случившегося в этом "омуте" злободневного. Такое видение поэта придает космический масштаб личному духовному событию. Поэта покидают и злободневность, и деструкции. Но следует определить адресат надежды и адресат порыва, который позволяет поднять голову над "водой", над "прожитым всуе".

Отметим важный момент: человек, страдающий в безвременьи, несет в себе не те страдания, избавлением от которых занимается Армия спасения, - это страдание проистекает оттого, что само время не ставит перед собой нравственно осмысленных целей. Да, "Сухарев ест баранину", но он не освобожден от страданий духовных - от бессмысленности, от оскорбленности *высокого в себе*. Это новый тип страдания и сострадания - не к людям голодным и бесквартирным, а к людям не исполняющим, но могущим исполнить свое высокое назначение.

Вопрошание В. Кривулина о смысле бытия исходит из *плоти* бытия; вопрошание переворачивает суть ориентации: вместо "падения", "наклона" на плоскость природно-чувственного мира возникает мир вертикально-восходящий. Новый мир ценностно замкнут, он возникает в абрисе христианской культуры: "икона", "мы время отпоем", "добро"... Если мы попытаемся выяснить то общее, что есть между "Тютчевым" (в стихотворении) и "иконой", "добром", назначением "отпеть свое время", то из всего контекста прорезывается общий смысл - нравственная религиозность. (Сравним с И. Бродским: "Пусть меня отпоет хор воды и небес, и гранит".) Поэт апел-

лирует к природе. Она и является точкой отсчета, с которой начинается летоисчисление в композиции "Музыкальные инструменты в песке и снеге". Речь, очевидно, идет лишь о *движении духа*. Движение подобно сгибу бумаги, которая остается той же самой,но линия сгиба пролагает границу между смыслом и "бредом веков",между христианским и нехристианским мирами.

Возникновение новой временно-пространственной конструемы в поэзии свидетельствует о начале нового *мифотворчества*. Появление новых конструем по значению всегда необычайно велико. Крупнейшие поэты оставались верными тому или иному конструкту,он позволяет им осмыслять художественно мир и создавать миф своего времени как определенную парадигму человеческого существования. При этом "верх" - "низ" - "местонахождение истинного" являются фундаментальным обнаружением как экзистенциального смысла, так и горизонта культуры, традицией,в которой поэт узнает себя.

Владимир Маяковский, поэт необычайно сильно выраженной парадигмы "низа", "бросания вниз" на плоскость непосредственно-природной реальности - в первый период своего творчества и на плоскость социально-злободневного - во второй, писал: "Я знаю - гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете!" Отсюда, внутри этой парадигмы, логично:

Крылатые прохвосты,
жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски.

Высшее, надмирное раскраивается "сапожным ножом", и естественно, что поэт сравнивал свою поэзию не с Александрийским столпом, а с "водопроводом". Но вместе с тем, и время претерпевает фундаментальную метаморфозу: "были времена, прошли былинные - ни былин, ни эпосов, ни эпопей". Времени нет - есть злободневность, нет высоты - есть улица,площадь, ванна Ивана Козырева, "три морковинки несу за зеленый хвостик". "Шаги саженьи" - точная передача плоскостного пространства... Убитый Бог и разоблаченный Гете; солнце,распивающее чаи на даче; "звездочки-плевочки" на небе; быт вместо бытия - итог работы духовной конструемы В. Маяковского. И не странно ли, что в роковой для поэта час катастрофа оказалась связанной с феноменологией "воды": "Любовная лодка разбилась о быт". С этой "воды", с отрицания ее начинается композиция В. Кривулина.

Известно, какие симпатии связывали Маяковского с Пастернаком. Эти симпатии могут показаться в высшей степени странными - Борис Пастернак не был "агитатором, горланом, главарем". И тем не менее, и первый и второй были поэтами "падения", "наклона", "непосредственности". И если Маяковский был *направлен* к этой плоскости, отрицая, прежде всего, социальную трансцендентность - ту, которая была воплощена в старой России: имперский патриотизм,византийство церкви и высокомерие бюрократии, - и,таким образом, "сливался с революцией",которая была для него условием возвращения к земле, к быту, к гедонизму благоустроенной соци-

альности, то Пастернак, в сущности, всегда оставался на этой плоскости земли - быта (М.Цветаева проницательно заметила: "Быт для Пастернака, что земля для шага..."), - и поэтому Маяковский видел в Пастернаке поэта,каким он должен был быть сам в итоге своего духовного движения,а Пастернак в Маяковском - условие своей собственной поэзии.

Пастернак говорил: "Поэзия всегда останется той, превыше Альп прославленной высотой, которая валяется в траве *под ногами* так, что надо только *нагнуться,* чтобы ее увидеть и подобрать *с земли*". Парадигма Пастернака выражена точно. Она указывает на порядок там, где свободные игры творчества, представляется, его не допускают,но и в то же время очевидно, если обратимся к драматическим судьбам Маяковского, Цветаевой, Мандельштама и Пастернака - и,шире, к русской поэзии, - насколько эти игры серьезны. Вернемся к парадоксу, который заключен в словах Пастернака о поэзии.

Здесь мы встречаемся со специфической логикой или,иначе говоря, с другими критериями истинности:"верх" - "низ" вольно меняются местами; физический аспект мира: "трава", "гора" - явно включен в иные семантические зависимости. "Трава" и "Альпы" служат феноменологическим обнаружением иерархической структуры мира. Феноменология указывает на ценностный порядок, устанавливаемый поэтической парадигмой, порядок,который поддерживается *выбором и верой поэта;* в феноменологии просвечивает определенность ценностной структуры. "Трава" для Пастернака символ поэзии, то есть истина поэзии таится в природе (точно также у Р. Грачева: "Растения предохраняют тут от преждевременных потуг, от преждевременных рождений"). Если "трава" "под ногами" избирается символом поэзии, а "низ" - это местонахождение истины, то "Альпы" - обозначение ценностной шкалы. Итог: "трава" (поэзия) на шкале ценностей - "Альпы". Вот суть парадокса.

Этим и объясняется, почему в конце пятидесятых годов, когда "молодая литература" открывала мир непосредственно-чувственных достоверностей, Пастернак стал ее духовным учителем. Его поэтическая парадигма оказалась тождественной той, которая была рождена в результате отказа от безличных истин, более не вызывающих веры, и обращением к "мигам" и "естественности". Но неизбежно и забвение Пастернака внутри "второй литературной реальности", как только в ее духовном поиске "оплеванное" некогда небо вновь зажгло звезды, и вместо экстазов "бросаний", "наклонов", "мигов" - закинутость головы к высоте. Вопрошание о вечном смысле жизни создает и восстанавливает вертикально-восходящую парадигму. И Осип Мандельштам,человек маленького роста,но высокой этической доблести, который, как и Булгаков, не укладывается в парадигму "наклона",становится новым проводником новой поэзии. Он писал: "...если у футуристов слово, как таковое,ползает на четвереньках, в акмеизме оно принимает более достойное *вертикальное положение...*" Великий поэт мыслил парадигмами, и внутреннее время поэзии связано с их переменами.

Итак, некогда разгромленная парадигма открывает новую эпоху поэтической речи.

1975

Писатель Борис Иванов в середине 60-х годов порвал с официальной литературой. Живет в Ленинграде.

Кейс Верхейл

МАЛЫЙ КОРИФЕЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Заметки о русских стихах Владимира Набокова

1.

Когда в 1977 году Владимир Набоков умер, остался один проект, которого он не довершил: окончательное составление собрания его русских стихов. В 1971 году Набоков опубликовал крохотную подборку этих стихов, сопроводив их полуоправдывающимся, полусмущенным комментарием, в двуязычном сборнике Poems and Problems. Уже вскоре после этого среди русских и читающих по-русски на Западе обнаружился спрос на более обширную публикацию. Такая публикация появилась, несмотря на отсутствие окончательных авторских высказываний о том, что считать подходящим или неподходящим для включения в такую книгу, - и этим мы обязаны разумному решению жены и издателя Набокова. Триста с лишним страниц "Стихов"* Набокова - при том, что они не являются во всех отношениях продуманным целым - можно считать идеальным завершением его творчества. Стихи сопровождают Набокова почти из года в год - начиная с революции 1917 года вплоть до смерти писателя; эти стихи, благодаря присущему им духу интимности, открывают нам поразительную перспективу его эволюции из студента-эмигранта в американского романиста с мировой репутацией. Исследователи прозы Набокова найдут в его русских стихах богатый источник тем и образов его повествовательных вещей. Но и без таких литературоведческих "задних мыслей" собранные стихи Набокова - книга, которая читается с удовольствием. В его творчестве она имеет свою ценность и свое обаяние. Стихи Набокова редко достигают уровня его лучших романов и рассказов. Но если продолжить это

**Владимир Набоков. Стихи.* (С предисловием Веры Набоковой). Изд. Ардис, Анн Арбор (США), 1979, стр. 330.*

сравнение,у них обнаруживается по крайней мере одно преимущество перед прозой. За редкими исключениями, они свободны от того нарочитого блеска и той самодовольной шутливости, которые составляют теневую сторону его мастерства повествователя.

В своих "Стихах" Набоков предстает как симпатичный minor poet - он не новатор, не выразитель какой-либо традиции, но человек, который, вдохновляясь примером других, иногда достигает в стихотворной форме чего-то поразительного. И в лучшие свои, и в худшие моменты творчества он зависит от более сильных коллег. Поэтические слабости Набокова - попытка найти опору в поверхностных эффектах и отсутствие абсолютного языкового слуха - начинают преобладать, как только он попадает под чары поэта самого "одушевленного" типа. В молодости Набоков был беззащитным эпигоном возвышенных романтиков и символистов, и еще в тридцатые годы его рационально-прибранный стиль был вдруг встревожен отзвуками бурного модернизма Пастернака. Влияние Пастернака ощущается в натянутой непринужденности поэтической техники вплоть до последних стихов Набокова. Характерно, что он старается освободиться от такой зависимости с помощью насмешки. Подобно Достоевскому - отчиму многих "надорванных" и криминальных фигур в набоковских романах, - Пастернак стал для него любимым предметом злостных намеков и пародий.

На мой взгляд, Набоков достиг своего поэтического максимума в двадцатых - начале тридцатых годов, когда в русской артистической колонии Берлина он был молодым автором, еще не определившим окончательно свой жанр - поэзия, рассказы или романы. К этому периоду относится подавляющее большинство страниц в его "Стихах". Сила берлинских стихов Набокова заключается в сочетании ясности, воображения и игровой легкости в применении к традиционным формам. Его тогдашние примеры - Пушкин и некоторые умеренные модернисты из "петербургской" школы - способствовали расцвету лучших его возможностей. Так появилась его поэзия - легко воспринимаемая, без гениальных взлетов, но отличающаяся цельным, внушительным - даже и по сегодняшним меркам - качеством. Воспоминание о России, впечатление от городской европейской жизни или какая-либо невольная мысль разрабатываются изящно и опрятно, в закругленных строфах. У поэта, развивающегося в значительного прозаика, почти само собой разумеется, что "остовом" стихотворения часто служит неслучившийся рассказ. В "Даре" - его самой длинной, во многом автобиографической русской прозе, которая отражает берлинский период жизни Набокова, - стихи героя однажды называются "образцами" его будущих романов. Но поэзия Набокова - более, чем его проза - имеет в зачатке чисто поэтические свойства, которые идут дальше рифмы и ритма. Как и во всякой настоящей поэзии, в ней есть строки, которые, благодаря своей выразительности и эмоциональной нагрузке, продолжают звучать в памяти даже вне связи с контекстом. Вероятно, самая сильная строчка Набокова, цитируемая почти всеми русскими в эмигрантской прессе, - заключительный стих "Вечера на пустыре", написанного в 1932 году. Это длинное стихотворение посвящено памяти отца Набокова - либерального политика, убитого в начале двадцатых годов в Берлине русскими террористами. После описания солнечного

заката на окраине города,перемежаемого воспоминаниями об имении в России, поэт рассказывает, как перед его глазами появляется образ покойного отца, которого он видит прогуливающимся со своей собакой. Он приближается, герой узнает его по бодрой походке, - и тогда, без всякого перехода, следует концовка:

не изменился ты с тех пор, как умер.

2.

В предисловии к посмертному изданию "Стихов" жена писателя Вера Елисеевна Набокова пишет: "Посылая этот сборник в печать, хочу обратить внимания читателя на главную тему Набокова,Она,кажется, не была никем отмечена, а между тем ею пропитано все,что он писал". Чтобы уточнить свою мысль, она приводит слово "потусторонность", мелькнувшее в одном из последних стихотворений Набокова. Связанность автора с иным миром была его "тайной". Много лет он был причастен этой тайне, почти не сознавая ее,и именно она давала ему жизнерадостность и ясность духа даже в самые тяжелые моменты. Замечание Веры Елисеевны ценно потому, что оно бросает яркий свет на нечто,скрывавшееся Набоковым,особенно в его американской прозе,за дымовой завесой иронии. Убедительным доказательством правоты Веры Елисеевны является русская поэзия Набокова - в этой наиболее сокровенной части своего творчества он предстает как беззаботный художник, склонный, однако, к мистицизму.

Если не считать некоторых рождественских и пасхальных стихов в самом раннем периоде творчества Набокова, его поэтический мистицизм никогда не был выражением традиционной набожности. Искусство для Набокова - эстетическая игра с попыткой представить более совершенный мир, где смерть - лишь дурной сон и где милые мгновения жизни сохраняются нетронутыми. Жизнь после смерти там совпадает с первыми впечатлениями детства: "бессмертно все, что невозвратно". Для взрослого Я потусторонний мир иногда обретает реальность в мечтах и в невольных ассоциациях, являющихся во временнóм существовании неожиданными прорывами наружу. В свои берлинские годы Набоков преимущественно играет с наивными образами небесного рая или сказочного заморского острова. Главные фигуры его фантазий - добродушные, неуловимые существа: ангелы или их земные двойники - бабочки (которых Набоков со школьного возраста сибирал и изучал как биолог-любитель). Нередко получается забавный эффект, когда Набоков отменяет границу между повседневным и "иным". Бегущий по улице трамвай становится библейским чудовищем,уносящимся со звоном и громкими "песнопениями" в вечность. Акробат балансирует на канате на вечерней площади перед стеной, освещенной прожектором, и тень его, обретая крылья, улетает к звездам. Одно из набоковских стихотворений двадцатых годов,в котором фигурируют и бабочки,и ангел, я приведу как иллюстрацию:

СТИХИ

Блуждая по запущенному саду,
я видел в полдень, в воздухе слепом,
двух бабочек глазастых, до упаду

хохочущих над бархатным пупом
подсолнуха. А в городе однажды
я видел дом: был у него такой
вид, словно он смех сдерживает; дважды
прошел я мимо и потом рукой
махнул и рассмеялся сам: а дом, нет,
не прыснул: только в окнах огонек
лукавый промелькнул. Все это помнит
моя душа; все это ей намек,
что на небе по-детски Бог хохочет,
смотря, как босоногий серафим
вниз перегнулся и наш мир щекочет
одним лазурным перышком своим.

1924

Набокова пленяет все, что может быстро и беспрепятственно перемещаться: крылатые животные, херувимы, аэропланы, трамваи и поезда. Его мистицизм неотделим от ощущения вольности в движении по пространству и времени. Понятно, что радость при мысли об уничтожении барьеров особенно сильна у политического беженца, окончательно отказавшегося от мысли о реальном возвращении на родину. В стихотворении "Лыжный прыжок" автор при виде "ската на сваях" в Riesengebirge представляет себе, как он будет мчаться вниз, подпрыгнет перед самой бездной и будет плыть по воздуху до своего родного Петербурга. Другое стихотворение объединяет мечту о волшебном полете на родину с идеей возвращения в потерянный рай детства. В первой строфе мы видим героя в его заграничной наемной комнате незадолго до начала поездки:

Для странствия ночного мне не надо
Ни кораблей, ни поездов.
Стоит луна над шашечницей сада.
Окно открыто. Я готов.

Как каждый вечер, его тень отрывается от пола и кошачьим прыжком переносится на ту сторону русской границы. Неуязвимый для пуль пограничников, "беспаспортная тень", плывет он над лесами и лугами - "один живой на всю страну большую, один счастливый гражданин". По прибытии в бывшую столицу герой находит дорогу к своему дому. В доме все кажется другим - не таким, как раньше. Но в одной из комнат настоящее и прошлое вдруг волшебным образом сливаются:

Там дети спят. Над уголком подушки
Я наклоняюсь, и тогда
Им снятся прежние мои игрушки
И корабли, и поезда.

В техническом отношении Набоков здесь, как всегда, безупречен. Завершение стихотворения вариацией на одну из начальных строк усиливает ощущение нечаянно замкнувшегося жизненного круга.

3.

В поэзии Набокова трагизм существования "перемещенного лица" выражен ненастойчиво и потому - убедительно. Именно беззаботный тон поэта, его нарочитый отказ от патетики и робость, с какой он пишет о своих собственных эмоциях, позволяют ему найти чистые слова для выражения чувства тоски и безысходности изгнания. Многие его стихи принадлежат в самом точном смысле слова эмигрантской литературе. Иногда Набоков наблюдает судьбу беженца со стороны. В стихотворении "Прохожий с елкой" автор видит худого бородатого господина в "российском пальто до пят",с трудом бредущего по чужому снегу с "немецкой елочкой" на спине. Без всяких комментариев, любовно он описывает его в нескольких строках. Однако чаще положение человека, живущего на чужбине, выражается через авторское Я. Идея пожизненного пребывания вне страны, с которой язык и воспоминания связывают его самым тесным образом, вызывает у Набокова самые противоречивые чувства.Кроме радостей мечтания о тайном проникновении в страну и успешном обмане разных начальников ненавистного "революционного" государства, есть у Набокова укоренившийся страх, который время от времени прорывается в образах насильственной смерти. Темная сторона Набокова - обратная сторона той "ясности", о которой упоминает его жена, - в его поэзии сильнее всего представлена двумя стихотворениями под названием "Расстрел". Одно из них - быть может, внушенное воспоминанием о судьбе казненного в 1921 году за "антисоветскую деятельность" Николая Гумилева,поэта из петербургской группы акмеистов, которого Набоков любил с юношеских лет и который продолжал занимать его мысли вплоть до конца жизни, - описывает (в третьем лице) человека, который стоит, гордо улыбаясь, против четырех дул и ждет, когда раздастся выстрел. И "ангел, сошедший с ума... воя кружится над бездной". Другое стихотворение рассказывает о постоянно снящемся кошмаре: по возвращении героя в Россию его "ведут к оврагу убивать". Проснувшись, он принимает святящийся циферблат ручных часов за дуло. Не сразу справляется он с чувством паники и думает с благодарностью о"покрове" своего "благополучного изгнания".

Поскольку книга охватывает столь длительный период, в ней можно проследить, как постепенно менялось отношение поэта к стране, которая и в пространстве, и во времени все более удалялась от него. Идут годы эмиграции, и по мере того как Набоков переселяется из одного убежища в другое, Россия становится для него реальностью все более внутренней. То, что вначале еще было пространством, существовавшим самостоятельно, вне его, в конце концов превращается в нечто чисто воображаемое - в комплекс чувств и воспоминаний, навсегда зафиксированный в замкнутом мире его Я. Уже в 1928 году (не прошло и десяти лет со дня его отъезда из Севастополя) Набоков в стихотворении "К России" видит родину как собрание географических линий на своей ладони и размышляет о том, как карта бывшей империи "сольется" после его смерти и вместе с ним сойдет в могилу. В освоении навсегда потерянного - психическое спасение эмигранта,ибо культивируя "сон о родной стране... всякой яви совершенней",он заговаривает свою

тягу к возвращению. Если он художник, потеря отечества - даже потенциальный выигрыш для него. Не ограниченный реальностью, он может управлять своим "сном" и использовать его как материал для своей работы. Сопутствующий этому риск - самоповторение, застывание - сказывается в более поздних стихах, рассказах и романах Набокова. Довольно ограниченный запас идиллических воспоминаний детства, которые для него ярче всего выражают идею "России", приобретает черты репертуара: пятна тени и света в аллеях поместья, спортивно загорелые руки первой возлюбленной, оставшейся по ту сторону, еще пять-шесть постоянно встречающихся образов. С конца двадцатых годов талант Набокова устремлен к поиску все более виртуозных приемов, назначенных перекладывать в слова избранные воспоминания и, переплетая их - в прозе и в стихах - с другими темами, добиваться блестящего целого.

4.

Набоков был бы менее симпатичен как писатель, если бы ему вполне удалось превозмочь трудности, связанные с потерей родины, за счет своего мастерства художника. Как раз в более зрелом возрасте, когда он становится знаменитым автором, окруженным новой, нерусской публикой, Набоков время от времени сочиняет на родном языке стихотворение о незатихающей боли эмигранта. В 1939 году, незадолго до отъезда из Европы, Набоков обращается необычайным для него, взволнованным тоном к России, которая все еще преследует его, вплоть до "угольной ямы" его существования:

Отвяжись, я тебя умоляю!

То же самое чувство обременяющей привязанности Набоков снова сформулировал многими годами позже, в Америке. Несмотря на сдержанный, почти деловой тон, это стихотворение стало самым неприкрытым выражением того горя, которое в его творчестве обычно лишь угадывается. Мысль о потерянном разрастается здесь в бред - тем более мучительный, что мысль эта герметически отделена от верхних слоев сознания, так что авторское Я ее уже почти не узнает:

Есть сон. Он повторяется, как томный
Стук замурованного. В этом сне
Киркой работаю в дыре огромной
И нахожу обломок в глубине.

И фонарем на нем я освещаю
След надписи и наготу червя.
"Читай, читай!" - кричит мне кровь моя:
Р, О, С, - нет, я букв не различаю.

Во многих отрывках своей поэзии и прозы Набоков как пишущий эмигрант оказывается заинтригованным идеей успеха. Быть знаменитым в этом случае значит не только удовольствие признания той среды, в которой displased person должен был завоевать себе место, но еще более - перспективу его литературного будущего на территории родного языка. Самое длинное русское стихотворение Набокова, написанное во время второй мировой войны, когда поэт

нашел в Америке первую точку опоры, носит название "Слава". В новом жилище автора посещает таинственный бес, который с насмешкой выставляет ему его же боязнь того, что никто "на просторе великом" России не прочтет ни страницы из его работ. Короткое стихотворение 1959 года на ту же тему сообщает только что обретенную уверенность. В связи со скандалом вокруг "Лолиты" писатель в предыдущие месяцы стал одним из главных объектов внимания мировой прессы. Лирический отклик Набокова на этот скандал ("Какое сделал я дурное дело") начинается малообещающими строчками, весьма средне пародирующими стихотворение, которым Пастернак (чей "Доктор Живаго" соперничал с "Лолитой" в списках западных бестселлеров) защищался от своих обвинителей. Затем уровень повышается. Заключительная строфа определяет ту награду, которую поэт видит для себя в будущем после всей этой заграничной шумихи:

Но как забавно, что в конце абзаца,
Корректору и веку вопреки,
Тень русской ветки будет колебаться
На мраморе моей руки.

Достанется ли Набокову за его книги когда-нибудь мраморный памятник в Советском Союзе - не берусь сказать. Но могу засвидетельствовать, что западные издания его русской прозы дорого стоят там на "черном рынке" и интеллигенция ими зачитывается. Когда в 1978 году я спрашивал московских друзей, кто у них самый популярный прозаик, почти все отвечали, не задумываясь: Набоков. О его поэзии никто тогда не говорил. Но теперь, после выхода набоковских "Стихов", нетрудно предсказать и его посмертное возвращение домой в качестве одного из малых корифеев русской поэзии двадцатого века. *

ПОСТСКРИПТУМ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ

В этой статье, предназначенной для публики, которая в лучшем случае знает только три-четыре самых известных имени в русской поэзии, я не хотел осложнять текст развитием параллели между лирикой Набокова и Ходасевича. Для русского читателя эта параллель настолько очевидна, что упоминание Ходасевича, едва только заходит речь о стихах Набокова, стало уже трюизмом. Смысл сопоставления обычно сводится к тому, что Набоков-поэт - это не более чем второсортный вариант Ходасевича. Более серьезное и подробное сравнение обоих поэтов показало бы, по моему убеждению, не только несомненное превосходство старшего в языковой тонкости и в лирическом воображении, но и оригинальность младшего в выборе тематики и в развитии ее через своеобразную игру смысловых ходов.

Из моих недавних разговоров с московскими и ленинградскими друзьями я должен заключить, что предсказание, выраженное мною в конце статьи, до сих пор не сбылось. По-видимому, в России теперь принято считать, что Набоков - великий прозаик, а поэт ме-

Авторский перевод статьи, напечатанной в голландском еженедельнике "Vrij Nederland" *28 июля 1979 г.*

нее чем средний. Я совершенно согласен, что набоковская лирика никаких принципиально новых возможностей в языке не открывает - пока я готовил голландский текст своей статьи, я не раз удивлялся, с какой подозрительной легкостью поддается она переводу. Но почти то же самое можно сказать и о прозе Набокова. Прелесть набоковской прозы не в лексике и не в стилистических приемах, которые сами по себе до книжности традиционны, а в живости и изящной точности их применения. Особенность Набокова-рассказчика - эффект "чуда" через неожиданные переходы в будто бы вполне равномерно развивающейся фабуле - отражается и в его стихах. Я по-прежнему уверен, что некоторые из лучших качеств Набокова налицо в его русской лирике и что она - как выражение эмоционального отношения писателя-эмигранта к своей стране и порождаемой этим отношением "мистической" игры воображения - заслуживает хотя бы скромного места в поэтической памяти его соотечественников.

1980

Кейс Верхейл - голландский писатель. Родился в 1940 году в Голландии. Окончил отделение славистики Амстердамского университета и защитил диссертацию "Тема времени в поэзии Анны Ахматовой". В 1967 году учился в МГУ. Автор нескольких книг прозы и литературных статей, среди них - автобиографический роман о России "Встреча с противником" (опубликована в 1976 году по-голландски). Перевел на голландский язык сборник О. Мандельштама, "Воспоминания" Надежды Мандельштам, "Котлован" А. Платонова, стихотворения А.Ахматовой,И.Бродского,И.Анненского. Живет в Амстердаме.

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Андрей Платонович Платонов (1899-1951)

Составители А. Киселев и В. Марамзин

(начало в № 4, 1979)

1944

1. газ. "Красная звезда" № 4, 5 января 1944 г., стр. 3. Через реку. Рассказ пехотинца. [*Впервые в кн.: "В сторону заката солнца", М. 1945, под названием "Добрая корова (Рассказ старослужащего красноармейца)". В книге "Солдатское сердце", Детгиз, М.-Л. 1946, под названием "На доброй земле (рассказ бойца)".*]
2. газ. "Труд" № 14, 16 января 1944 г., стр. 2-3. Офицер и солдат. [*Рассказ. Впервые в кн.: "В сторону заката солнца", М. 1945. В газете вариант рассказа.*]
3. ж. "Красноармеец" № 6, март 1944 г., стр. 9-10. На минном поле. Рассказ. [*Отрывок из рассказа. Впервые в кн.: "В сторону заката солнца", М. 1945, под названием "Три солдата". В книге "Смерти нет!", М. 1970, под названием "О советском солдате (Три солдата)".*]
4. газ. "Красная звезда" № 93, 19 апреля 1944 г., стр. 3. Апрельские будни. [*Корреспонденция. В конце: "1-й Украинский фронт. (По телеграфу от наш. спец. корр.)". Впервые в кн.: "Солдатское сердце", Детгиз, М.-Л. 1946, под названием "На Горынь-реке".*]
5. ж. "Дружные ребята" № 4, 1944, стр. 14-15. Ветер-хлебопашец. [*Рассказ. В содержании указан автор И. Курдюмов. После рассказа: "Рассказал И. П. Курдюмов, записал А. Платонов". Впервые в кн.: "Одухотворенные люди", М. 1963.*]
6. газ. "Красная звезда" № 124, 26 мая 1944 г., стр. 3-4. Сын народа. [*Рассказ. Под рубрикой "Рассказы об офицерах". В конце: "Действующая Армия". Впервые в кн.: "Одухотворенные люди", М. 1963, под названием "Сын народа (офицер Простых)".*]
7. там же, № 150, 25 июня 1944 г., стр. 3. Прорыв на запад. (От специального корреспондента "Красной звезды"). [*Корреспонденция. В конце: "Могилевское направление. 24 июня (по телеграфу)". Впервые в кн.: "Одухотворенные люди", М.1963.*]

8. газ. "Красная звезда" № 152, 28 июня 1944 г.,стр. 2. Дорога на Могилев. (От специального корреспондента "Красной звезды"). [*Корреспонденция. В конце: "Могилевское направление. 27 июня (по телеграфу)". Часть очерка "В Белоруссии". См. кн.: "Фронтовые очерки о Великой Отечественной войне", т. 2, М. 1957.*]

9. там же, № 153, 29 июня 1944 г., стр. 3. В Могилеве. (От специального корреспондента "Красной звезды"). [*Корреспонденция. В конце: "Могилев, 28 июня (по телеграфу)".*]

10. там же, № 157, 4 июля 1944 г., стр. 3. Падение немца. [*Корреспонденция. В конце: "Действующая Армия. (По телеграфу от наш. спец. корр.)" Часть очерка "В Белоруссии". См. кн.: "Фронтовые очерки о Великой Отечественной войне", т. 2, М. 1957.*]

1945

1. газ. "Красная звезда" № 41, 18 февраля 1945 г., стр. 3, и № 42, 20 февраля 1945 г., стр. 3. Один бой. Рассказ. [*Впервые в кн.: "Одухотворенные люди", М. 1963, под названием "Один бой ("Челюсть дракона"). В кн."Смерти нет!",М. 1970, под названием "Челюсть дракона" (Один бой)".*]

2. там же, № 94, 21 апреля 1945 г., стр. 3, и* 6 мая 1945 г. Штурм лабиринта. Рассказ. [*Впервые в кн.: "Солдатское сердце", Детгиз М.-Л. 1946. Газ. от 6 мая составители не видели, сведения из "Рус. сов. проз.".*]

3. ж. "Мурзилка" № 4, 1945, стр. 6-9. Цветок на земле. [*Рассказ. Впервые в кн.: "Рассказы", М. 1962.*]

4. ж. "Новый мир" № 7, 1945, стр. 82-84. Никита. Рассказ. [*В ж. "Мурзилка" № 7, 1945, под названием "Добрый Кит". Впервые в кн.: "Избранные рассказы", М. 1958.*]

5. ж. "Мурзилка" № 7, 1945, стр. 5-8. Добрый Кит. [*Другое название рассказа "Никита". См.ж. "Новый мир" № 7, 1945.*]

6. газ. "Гудок" № 118, 30 сентября 1945 г., стр. 4. Жена машиниста. Рассказ. [*В сокращенном виде. См. прим. к публикации в ж. "30 дней" № 11-12, 1940.*]

7. ж. "Красноармеец" № 18, сентябрь 1945 г., стр. 14-15. Сержант Шадрин. История русского молодого человека нашего времени.[*Рассказ. Впервые в кн.: "Одухотворенные люди",М. 1963.*]

8. В книге: Дни боевые. Рассказы и стихи о Великой Отечественной войне. (Школьная библиотека. Для неполной средней и средней школы). Детгиз, М.-Л. 1945, тир. 60 000 экз., стр. 151-155. Через реку. Рассказ пехотинца. [*См. прим. к публикации в газ. "Красная звезда" № 4, 5 января 1944 г.*]

1946

1. газ. "Красная звезда" № 98, 24 апреля 1946 г.,стр. 3,№ 99, 25 апреля 1946 г., стр. 3 и № 100, 26 апреля 1946 г., стр. 3. Начало пути. [*Рассказ. Впервые в кн.: "Одухотворенные люди", М. 1963, под названием "Молодой майор (офицер Зайцев)". В газ. вариант рассказа.*]

2. ж. "Огонек" № 38-39, сентябрь 1946 г., стр. 29-30. Житель родного города. Очерк.
3. ж. "Новый мир" № 10-11, 1946, стр. 97-108. Семья Иванова. Рассказ. [*Впервые в кн.: "Рассказы", М. 1962, под названием "Возвращение".*]

1947

1. ж."Огонек" № 15, 13 апреля 1947 г., стр. 15-16. Счастье вблизи человека. Рассказ. [*См. прим. к публикации в "Литературной газете" № 43, 5 августа 1938 г.*]
2. там же, № 17, 27 апреля 1947 г., стр. 25. Рассказы Василя Стефаника. [*О книге: В.Стефаник. Рассказы. "Советский писатель", 1947. Впервые в кн.: "Размышления читателя", М. 1970.*]
3. там же, № 21, 25 мая 1947 г., стр. 24. В окопах Сталинграда. [*О книге: В. Некрасов. В окопах Сталинграда. "Московский рабочий", 1947.*]
4. там же, № 26, 29 июня 1947 г., стр. 24. Сказки русского народа. [*О книге: Русские народные сказки в обработке А.Н.Толстого. Детгиз, 1946. Впервые в кн.: "Мастерская", М. 1977.*]
5. там же, № 40, 5 октября 1947 г. Стр. 17-18. В далеком колхозе. [*Очерк.*] Стр. 24. На переднем крае. [*О романе Мих. Бубеннова "Белая береза", ж. "Октябрь" №№ 5-7,1947. Подпись: А.Климентов.*]
6. ж. "Мурзилка" № 11, 1947,стр. 18-23,и № 12,1947,стр.15-20. Финист - ясный сокол. Русская народная сказка. Обработал Андрей Платонов. [*Впервые в кн.: "Финист - ясный сокол", Детгиз, М. 1947.*]

1948

1. газ. "Пионерская правда" № 2, 6 января 1948 г.,стр. 4. Две крошки. Сказка.

1952

1. В книге: Рассказы советских писателей. В 3-х томах. Т. 3. Гослитиздат, М. 1952, тир. 75 000 экз, стр. 138-152. Июльская гроза. [*См. прим. к публикации в "Литературной газете" № 54, 30 сентября 1938 г.*]
2. В книге: Золотой кувшин. Сказки народов Советского Союза. Детгиз, М.-Л. 1952, тир. 400 000 экз., стр. 81-84. Жадные богачи и Зиннят. (башкирская сказка). [*Из кн.: "Башкирские народные сказки", М.-Л. 1947, (там под назв. "Жадный богач и Зиннят-агай"). В содержании: "Обработка А.Платонова".*]

1956

1. В книге: Русские народные сказки. Составили А. Нечаев и Н. Рыбакова. Детгиз,М. 1956,тир. 100 000 экз. Стр.194-204.

Солдат и царица. Стр. 270-280. Морока. [*Из кн.: "Волшебное кольцо", М. 1950. В содержании: "Пересказ А. Платонова.*]

1957

1. В книге: Фронтовые очерки о Великой Отечественной войне. В трех томах. Т. 2. Составитель В. Катинов. Воениздат,М.1957 [*тираж на указан* Стр. 362-369. Сын народа. [*См. примечание к публикации в газ. "Красная звезда" № 124, 26 мая 1944 г.*].Стр.544-561.В Белоруссии. [*Очерк. Части: "Дорога на Могилев", газ. "Красная звезда" № 152, 28 июня 1944 г., и "Падение немца", газ."Красная звезда" № 157, 4 июля 1944 г.*]
2. В книге: Русские народные сказки. (Печатается по тексту издания "Русские народные сказки", Детгиз, М. 1956). Госиздательство БССР, Минск, 1957, тир. 100 000 экз. Стр. 194-204. Солдат и царица. Стр. 270-280. Морока. [*В содержании: "Пересказ А. Платонова." Из кн.: "Волшебное кольцо", Детгиз, М. 1950.*]

1958

1. ж. "Подъем" (Воронеж) № 3,1958,стр. 111-115. Никита. [*Рассказ. С портретом и предисловием, подписанным Ф.В.См.прим. к публикации в ж. "Новый мир" № 7, 1945.*]

1959

1. В книге: Русские народные сказки. Рязанское кн. изд. Рязань, 1959, тир. 30 000 экз.,стр. 85-92. Солдат и царица. [*Из кн.: "Волшебное кольцо", М. 1950. В содержании "Пересказ А.Платонова".*]

1961

1. газ. "Литература и жизнь" № 2, 4 января 1961 г., стр. 2. Цветок на земле. Рассказ. [*С редакц. предисловием. Малоизвестный рассказ, печатается к 10-летию со дня смерти Платонова. См. прим. к публикации в ж. "Мурзилка" № 4,1945.*]

1962

1. ж. "Сельская молодежь" № 6, 1962, стр. 7-8. Полотняная рубаха. Рассказ. [*С редакц. предисловием. Впервые в кн.: "Избранное", М. 1966.*]
2. "Литературная газета" № 83, 14 июля 1962 г., стр. 2-4. По небу полуночи... [*Рассказ. Печатается с небольшими сокращ. С портретом и редакц. предисловием. См. прим. к публикации в ж. "Индустрия социализма" № 7, 1939.*]
3. ж. "Сельская молодежь" № 9,1962,стр. 19-22. Афродита. Рассказ. [*С портретом и предисловием Федота Сучкова "Редкостный талант",стр. 19. Впервые в кн.: "В прекрасном и яростном мире", М. 1965.*]

1963

1. ж. "Сельская молодежь" № 3, 1963, стр. 16-17. Джан. Глава из неопубликованной повести. [*С портретом и предисловием. В сноске: "Вступительное слово к повести "Джан" и скульптурный портрет Андрея Платонова – Ф. Ф. Сучкова". Повесть "Джан" впервые в кн.: "Избранное", М. 1966.*]
2. еженед. "Литературная Россия" № 30,26 июля 1963 г.,стр.21-23. Сказ про солдата Курдюмова. [*Рассказ. С редакц. предисловием. Публикуется впервые.*]
3. В книге: Лукоморье. Сказки русских писателей. Составил И. Халтурин. Детгиз, М. 1963, тир. 100 000 экз., стр. 331-339. Солдат и царица. [*Из книги "Волшебное кольцо", М. 1950. В содержании: "Пересказ А. Платонова".*]

1964

1. ж. "Сельская молодежь" № 1, 1964, стр. 14-17. Скрипка. Рассказ, почти фантастический. [*Со сноской: "Рассказ печатается с сокращениями". Впервые в кн.: "Избранное",М. 1966,без подзаголовка.*]
2. еженед. "Литературная Россия" № 27,3 июля 1964 г.,стр. 10-11. Размышления читателя. (Пушкин и Горький. 1937 г. – Пушкин – наш товарищ. 1937 г. – Общие размышления о сатире по поводу, однако, частного случая. 1938. – Разрушение хижины одинокого человека. По поводу романов Хемингуэя "Прощай, оружие" и "Иметь и не иметь". 1938 г. – Агония.По поводу романа Р. Олдингтона "Сущий рай". 1938 г. – К столетию со времени смерти М. Ю. Лермонтова. 1941 г. [*Статьи. Печатаются с сокращ. С предисловием Вл. Кривцова. См. публикации в ж. "Литературный критик" № 6 и № 1 за 1937 год, № 11 и № 5 за 1938 год.*]
3. ж. "Простор" (Алма-Ата) № 9, 1964, стр. 22-66. Джан. Повесть. [*С редакц. предисловием и портретом. Отсутствуют несколько страниц текста в конце. Впервые в кн.: "Избранное", М. 1966, там тоже не полностью. См. также ж. "Сельская молодежь" № 3, 1963.*]
4. еженед. "Литературная Россия" № 49, 4 декабря 1964 г.,стр. 12-13. Свет жизни. Рассказ. [*С предисловием Вл. Кривцова. Ошибочно указано, что рассказ "не включался ни в один из платоновских сборников". См. примеч. к публикации в ж. "30 дней" № 8-9, 1939.*]

1965

1. ж. "Костер" № 3, 1965, стр. 27-29. Разноцветная бабочка. Сказка. [*С портретом (скульптура работы Ф. Сучкова, дерево, автор не указан) и предисловием В. Марамзина. Впервые в кн.: "Течение времени",М. 1971,под названием "Разноцветная бабочка. (Легенда)".*]

2. еженед. "Литературная Россия" № 19, 7 мая 1965 г.,стр. 18-19. Неодушевленный враг. Рассказ. [*С редакц. предисловием. Рассказ печатается впервые, публикация А. Козловского. В конце: "Действующая Армия. 1943". Впервые в кн.:"В прекрасном и яростном мире", М. 1965.*]
3. ж. "Простор" (Алма-Ата) № 5, 1965, стр. 38-49. Житейское дело. Рассказ. [*С редакционной сноской. Впервые в кн.: "Смерти нет!", М. 1970, под названием "Житейское дело. (Следом за сердцем)".*]
4. газ. "Московский комсомолец" № 183, 3 сентября 1965 г., стр. 3, № 184, 4 сентября 1965 г.,стр. 3,и № 185 5 сентября 1965 г., стр. 5. Житейское дело. Рассказ. [*С редакц. предисловием в № 183. Неизвестен широкому читателю.Из архива вдовы писателя. Предположительно датируется 1945 г. Печатается по рукописи. Со сноской: Рассказ будет опубликован издательством "Наука" в т. № 78 "Литературного наследства". В этом томе не был опубликован. См. примеч. к публикации в ж. "Простор" № 5, 1965.*]
5. ж. "Вожатый" № 9, 1965, стр. 29-31. Еще мама. [*Рассказ. С портретом: барельеф работы Ф. Сучкова, дерево. С редакц. предисловием. Из книги: "Избранные рассказы", М. 1958.*]
6. ж. "Смена" № 20, октябрь 1965 г., стр. 6-9. Три Осьмушки Под Резьбу. Рассказ. [*С портретом и предисловием М. Платоновой. Отрывок из повести "Происхождение мастера". См. примеч. к публикации в ж. "Красная новь" № 6,1928.*]
7. ж. "Кругозор" № 11, 1965, стр. 8 и 13. Присяга. Рассказ. [*См. газ. "Красная звезда" № 148, 25 июня 1943 г.*]
8. ж. "Звезда" № 12, 1965, стр. 181-186. Алтерке. Рассказ. [*С редакц. предисловием. В ж. "Дружные ребята" № 2, 1940, под названием "Алтеркэ", в сильно сокращенном виде. Впервые в кн.: "Потомки солнца", М. 1974, под названием "Алтеркэ".*]
9. ж. "Сельская мололежь" № 12, 1965, стр. 4-6. Лампочка Ильича. Рассказ. [*С редакционным предисловием. См. примечание к публикации в "Журнале крестьянской молодежи" № 21,1926.*]
10. В книге: Великая Отечественная... Повести и рассказы. Том второй. (Издание серии осуществляется под общей редакцией В. Кожевникова, К. Симонова, А. Суркова) Изд. "Художественная литература", М. 1965, тир. 110 000 экз., стр. 139-156. В сторону заката солнца. [*Рассказ. Ошибочно датирован 1944 г. См. публикации в газ. "Красная звезда" № 57,10 марта 1943 г., и в ж. "Октябрь" № 4-5, 1943.*] Три солдата. [*Рассказ. См. примеч. к публикации в ж. "Красноармеец" № 6, март 1944 г.*]

(Продолжение в следующем номере.)

Содержание журнала «ЭХО»

№ № 1-4, 1978

№ № 1-4, 1979

№ № 1(9) - 4(12), 1980

проза

Михаил Деза. Движения. Из дневника очень молодого математика - 3, 1978, с. 79-86.
Сергей Довлатов. Дорога в новую квартиру. Рассказ - 1,1979, с. 86-96; Соло на ундервуде (Из записных книжек)- 2/3,1979, с. 174-176.
Марк Зайчик. История. Рассказ - 3 (11),1980,с. 123-130.
М. Л. Козырева. Девочка перед дверью. Повесть - 3, 1978, с. 87-94; 4, 1978, с. 16-49.
Владимир Лапенков. Раман - 2/3, 1979, с. 106-152; Записки преждевременно созревшего (Сага для юношества) - 2 (10), 1980, с. 35-65.
Эдуард Лимонов. Секретная тетрадь, или Дневник неудачника (Отрывки из книги. С послесловием: В. Марамзин.Из подполья звезды видно. Новая книга Лимонова) - 3,1978, с. 56-68.
Евгений Любин. Гога Глебов. Рассказ - 2/3,1979,с. 177-179.
Владимир Марамзин. Смешнее чем прежде. Цикл рассказов - 4, 1978, с. 67-87.
Юрий М. Меклер. Урожденные.Повесть - 4(12),1980,с. 102-115.
Александр Мигунов. Белоглазая продавщица. Два рассказа - 4 (12), 1980 с. 21-48.
Юрий Милославский. Городские романсы - 1, 1979, с. 33-40; Обратные народные сказки (совместно с Константином Скоблинским) - 2/3, 1979, с. 247-249; Рассказы для детей (совместно с Константином Скоблинским) - 4, 1979, с. 115-117.
Владимир Михайлов. Еще долго - 2/3, 1979, с. 183-206.
Аркадий Ровнер. Система. Глава из романа - 2/3, 1979, с. 62-78.
Александр Розен. Баллады - 3, 1978, с. 8-14.
Владимир Рыбаков. Закон. Рассказ - 1,1978,с. 52-58.
Дмитрий Савицкий. Вальс для К. Поэма - 4 (12),1980,с.53-75.
Надежда Сдельникова. Запятуха слонце. Сказка - 4, 1979, с. 95-99.
Константин Скоблинский (совместно с Юрием Милославским). Обратные народные сказки - 2/3, 1979, с. 247-249; Рассказы для детей - 4, 1979, с. 115-117.
Софья Соколова. Перед закрытой дверью. Рассказ (С послесловием В. Нечаева) - 2 (10), 1980, с. 111-115.
Виктор Соснора. Из книги "1973". Проза. Стихи - 3, 1978 (проза: Памяти Пастернака, с. 42-47).
Алексей Хвостенко (совместно с Анри Волохонским).Лабиринт, или Остров лжецов. Комическая драма - 2 (10), 1980,с. 126-152.
Елена Шварц. Семейные предания - 1 (9), 1980, с. 78-89; Всегда ли прав тайный советник? - Всегда - 4 (12), 1980, с. 91-94.
Генрих Шеф. Митина оглядка. Рассказ - 2, 1978, с. 62-85; Моя история с тополем. Жизнь в беспрерывном беге. Два рассказа - 2/3, 1979, с. 12-45; Шкаф. Рассказ - 1 (9), 1980, с. 49-69.
Сергей Юрьенен. Охота на светлячков. Рассказ - 2, 1978, с. 96-110.

ПОЭЗИЯ

Владимир Адмони. Стихотворения - 3 (11), 1980, с. 137-140.
Михаил Армалинский. Три стихотворения - 1,1979, с. 97-98.
Димитрий Бобышев. Три стихотворения - 2/3,1979,с. 46-51.
Иосиф Бродский. Из старых стихов - 1, 1978, с. 7-17; Зофья - 3, 1978, с. 26-41; "Я пил из этого фонтана..." - 4 (12), 1980, с. 49-52.
Иван Буркин. Симфонический скандал - 4 (12),1980,с. 88-90.
Игорь Бурихин. Из сборника "Превращения на воздушных путях" - 1, 1979, с. 76-78.
Анри Волохонский. Венок Серебряному веку - 3, 1978, с. 73-78; Стихи о ангелах - 1, 1979, с. 41-44; Собрание песен (совместно с Алексеем Хвостенко, с послесловием: Леонид Ентин. Без музыки) - 4, 1979, с. 4-27; Олимпийское проклятие (совместно с Алексеем Хвостенко) - 2 (10), 1980, с. 3-4.
Владимир Высоцкий. Две новые песни (Песня о французских бесах. Купола) - 3, 1978, с. 4-7.
Сергей Гандлевский. Стихотворения - 2 (10), 1980,с. 66-69; Из новых стихов - 4 (12), 1980, с. 97-101.
Михаил Генделев. Стихотворения - 2 (10), 1980, с. 84-86.
Глеб Горбовский. Песни Глеба Горбовского (С предисловием: А. Хвостенко. О песнях Глеба Горбовского) - 3,1978, с. 50-55; На моей могилке. Стихотворения и поэмы - 2/3, 1979, с. 153-173.
Вадим Делоне. Стихотворения - 4 (12),1980,с. 124-127.
Леонид Ентин. Стихи - 2, 1978, с. 93-95.
Михаил Еремин. Из старых и новых стихов (С послесловием: А. Лосев. О Михаиле Еремине) - 2/3,1979, с. 4-11.
Анатолий Жигалов. Из конкретной поэзии - 1 (9),1980,с. 99-100.
Леонид Иоффе. Стихотворения - 4 (12),1980,с. 86-87.
Александр Кондратов. Из сборника "Пузыри земли" (с послесловием: А. Волохонский. О Кондратове) - 4 (12), 1980, с. 95-96.
Станислав Красовицкий. Стихотворения - 1 (9), 1980, с. 31-48.
Виктор Кривулин. Двухчастная композиция 1980 года - 3 (11), 1980, с. 118-122.
Владислав Лён. Прогулки (С послесловием: Автобиография Владислава Лёна,написанная в один присест) - 4, 1979, с. 86-94.
Эдуард Лимонов. Стихи разных лет - 1,1978,с. 59-72; Из новых стихов - 1 (9), 1980, с. 71-74.
Алексей Лосев. Памяти водки (С послесловием: Иосиф Бродский. О стихах А. Лосева) - 4, 1979, с. 51-67; Валѐрик - 1 (9), 1980, с. 3.
Юлий Марьин. Стихи для внеклассного чтения - 4 (12), 1980, с. 116-123.
Александр Миронов. Стихотворения - 4,1978,с. 50-56.

Андрей Монастырский. Из двух книг (1972-1974). (С послесловием Виктора Тупицына) - 4, 1979, с. 100-103.
Александр Ожиганов. Из книги "Стрекоза" - 2(10),1980,с.25-33.
Олег Охапкин. Стихотворения - 1,1979,с. 79-85.
Александр Очеретянский. Непредвиденная остановка - 2 (10), 1980, с. 81-83.
Сергей Петрунис. Иероглифы - 4,1979,с. 104-109.
Виктор Соснора. Из книги "1973". Проза. Стихи - 3, 1978, (стихи: с. 47-49).
Сергей Стратановский. Из стихотворений 1968-76 г. г. - 4, 1978, с. 8-15.
Виктор Тупицын. Стихотворения - 3, 1978,с. 15-18; Два пролога комедии дель арте - 2/3, 1979, с. 90-96.
Владимир Уфлянд. Стихи - 2,1978,с. 51-61; Рифмованная околесица - 3 (11), 1980, с. 90-116.
Лев Халиф. Стихотворения - 1,1979,с. 99-102.
Алексей Хвостенко. Памятник летчику Мациневичу - 1, 1978, с. 73-80; Два сонета для Р.Г. - 4, 1978, с. 88-89; Продолжение - 2/3, 1979, с. 52-61; Собрание песен (совместно с Анри Волохонским, с послесловием: Леонид Ентин. Без музыки) - 4, 1979, с. 4-27; Олимпийское проклятие (совместно с Анри Волохонским) - 2 (10), 1980, с. 3-4; Гобелен - 4 (12), 1980, с. 17-20.
Алексей Цветков. Письма на волю. Из книги стихов - 2/3,1979, с. 79-84.
Елена Шварц. Стихи из журнала "37" - 2, 1978, с. 89-92; Из двух сборников - 1, 1979, с. 66-75.
Елена Щапова. Пять монологов Джоана Хайца - 2/3,1979,с. 85-89; Il canto - 1 (9),1980, с. 75-76.

эссе, публицистика, очерки

Михаил Берг. Из книги "Записки на манжетах" - 1 (9), 1980, с. 90-98.
Иосиф Бродский. Меньше чем единица (Перевел с английского А. Лосев) - 1 (9), 1980, с. 6-22.
Александр Глезер. Я - человек с двойным дном. Отрывок из книги - 4, 1979, с. 99-108.
Е.Горный. Этап (Из лагерных воспоминаний) - 3,1978,с.95-105.
Вадим Делоне. Маркузе - 1, 1979, с. 103-109; Одиннадцать лет тому назад - 2/3, 1979, с. 180-182; Портреты в колючей раме - 4, 1979, с. 69-85.
Сергей Довлатов. Уроки чтения - 3,1978,с. 106-111.
Руфь Зернова. Попутчики (С послесловием: В. Марамзин. По поводу темы) - 2/3, 1979, с. 209-226.
Эмиль Коган. Советский Эдип - 1,1979,с. 129-138.
В. Марамзин. По поводу темы - 2/3,1979,с. 226.
Ваня Пазухин. "Золотое детство". Из журнала "Женщина и Россия" № 1, 1979 - 4, 1979,с. 111-114.
Георгий Песков. Мы и они. Отрывок из книги "Разговор с собой" - 1, 1978, с. 83-87.

Дмитрий Савицкий. Насморк свободы. (Под рубрикой "Письма русского путешественника") - 1 (9),1980, с. 130-136.
Виктор Тупицын. Метаморфозы третьего лица - 4,1978, с. 90-94.
Михаил Хейфец. Письмо из лагеря - 1, 1978, с. 88-91; Политический бытовик Николай Серков - 1, 1979, с. 110-128.
Юрий Ярмолинский. Письмо из Джорджии. (Под рубрикой "Письма русского путешественника") - 1 (9),1980,с. 137-147.

публикации

Александр Введенский. Некоторое количество разговоров, или Начисто переделанный темник.Публикация М.Мейлаха - 1,1978, с. 92-106; Кругом возможно Бог. Публикация М. Мейлаха. (С послесловием: Михаил Мейлах. О поэме Александра Введенского "Кругом возможно Бог") - 2, 1978, с. 114-141.

Андрей Платонов. Ювенильное море. Повесть. (С послесловием: Михаил Геллер. Соблазн утопии) - 4,1979,с. 118-180.

переводы

Из австрийской поэзии. Ханс Карл Артман и Пауль Целан в переводах Е.Мнацакановой - 1,1978, с. 107-111.

Константин Кавафис. Пять стихотворений. Перевел с английского А. Лосев - 2, 1978, с. 152-155.

Э. М. Чоран. Преимущества изгнания (Из книги "Искушение быть"). Перевод под редакцией Иосифа Бродского - 1, 1979, с. 139-142.

Песни Брассанса. Перевод с французского Киры Сапгир. (С предисловием: Кира Сапгир. "Я был душой дурного общества") - 2/3, 1979, с. 242-246.

Эмилия Дикинсон (1830-1886). Семь стихотворений. Перевел с английского Генрих Худяков. (С предисловием: Г. Худяков.От переводчика) - 4, 1978, с. 95-98.

критика, библиография

Нина Аловерт. Балет "Пиковая дама" в Париже - 1,1979,с.144-150.
Виктория Андреева. О прекрасной сложности - 2/3,1979,с.228-231.
[*Аноним.*] Эксплуатация двойника. На полях стихов Елены Шварц - 2 (10), 1980, с. 117-125.
Иосиф Бродский. На стороне Кавафиса. Перевел с английского А. Лосев (С предисловием и примечаниями переводчика) - 2, 1978, с. 142-152; О стихах А. Лосева - 4, 1979, с.66-67.

Петр Вайль, Александр Генис. Страсти по Ерофееву - 4,1979, с. 109-117; Метропольная культура - 2/3, 1979, с. 232-239; Литературные пародии - 2/3, 1979, с. 250-253.
Кейс Верхейл. Малый корифей русской поэзии. Заметки о русских стихах Владимира Набокова - 4 (12),1980,с. 138-145.
А. Волохонский. Набоков и миф личности - 1,1978,с. 112-115; О Кондратове - 4 (12),1980, с. 96.
Михаил Геллер. Соблазн утопии - 4,1979, с. 174-180.
С. Довлатов. Рыжий - 1,1979, с. 153-156.
Леонид Ентин. Без музыки - 4, 1979, с. 27.
Борис Иванов. Возвращение парадигмы — 4 (12), 1980, с. 128-137.
А. Лосев. О Михаиле Еремине - 2/3, 1979, с. 9-11; Иосиф Бродский. Предисловие. [*К сороколетию Бродского*] - 1 (9), 1980, с. 23-30.
Владимир Максимов. Метрополь или Метрóполь - 1,1979,с. 157-158.
В. Марамзин. Русский роман Владимира Максимова. "Прощание из ниоткуда" - 1, 1978, с. 116-126; Из подполья звезды видно. Новая книга Лимонова - 3, 1978, с. 69-70; Время и мы. Обзор - 3, 1978, с. 112-126.
Михаил Мейлах. О поэме Александра Введенского "Кругом возможно Бог" - 2, 1978, с. 137-141.
Андрей Платонович Платонов (1899-1951). Биобиблиографический указатель. Составители А. Киселев и В. Марамзин - 4, 1979, с. 186-190; 1 (9),1980, с. 149-158; 2 (10), 1980, с. 153-158; 3 (11), 1980, с. 147-158; 4 (12),1980,с.146-151.
Кира Сапгир. "Я был душой дурного общества" - 2/3, 1979, с. 242-243.
А.Хвостенко. О песнях Глеба Горбовского - 3, 1978,с. 50.
С.Юрьенен. Несколько пылких слов - 1, 1979, с.29-32.

разное

От редакторов - 1, 1978, с. 3-6.

Некролог: Александр Галич (1919-1977). Виктор Некрасов. Саша Галич - 1, 1978, с. 81-82.

Ко всем в СССР, кто по работе или случайно соприкасается с рукописями - 1, 1978, с. 127.

Некролог: Александр Арефьев (1931-1978) - 2,1978,с. 86.

Г. Вишневская и М. Растропович. Письмо Брежневу - 2, 1978, с. 87-88.

Основные журналы Зарубежья - 2,1978,с. 156-157.

Добавление. Два типа критики - 4,1978,с. 118-126.

"Год миновал..." - 1, 1979, с. 3.

"Запасной выход" - 1, 1979, с. 151-152.

Некролог: Памяти великой подвижницы [*А. Толстая*] - 2/3, 1979, с. 207.

Некролог: Анатолий Кузнецов (1929-1979) - 2/3,1979,с. 208.

Поздравляем! - 2/3, 1979, с. 227.

Письмо из Ленинграда - 2/3, 1979, с. 240-241.

Т. Мамонова. Заявление - 4,1979, с. 110.

Наше интервью с Владимиром Максимовым - 4,1979,с. 181-183.

Дело Михайлова - 4,1979, с. 184-185.

Некролог: Владимир Высоцкий (1938-1980) - 2 (10),1980,с. 6.

Некролог: Давид Дар (1910-1980) - 2 (10),1980,с. 34.

В последнюю минуту [Иосиф Бродский об аресте Константина Азадовского] - 3 (11), 1980, с. 89.

Война против писателей. Георгий Владимов. Владимир Войнович. Виктор Кривулин - 3 (11),1980,с. 142-146.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

В НОМЕРЕ:

«ЭХО»

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Основное содержание – литературный процесс в России в течение последних десятилетий. Проза, стихи, литературная критика. Публицистика. Публикации. Юмор. Более двух третей журнала – материалы литературного самиздата. Многие имена годами работающих в литературе писателей появляются впервые. Единственный в эмиграции журнал, регулярно печатающий библиографические материалы.

Только в Европе;

Условия подписки в редакции –
105 французских франков (4 номера в год, с доставкой).
Университеты и с целью поддержки – 140 франков.

* * *

В других странах журнал можно приобрести:

В Германии:
A. Neimanis Buchvetrieb, Bauerstrasse 28,
8000 München 40, Germany, tél. 37.05.34

В США и Канаде:
1. Издательство «Ардис», «RTL/Ardis publishers»,
2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104, U.S.A.
tél. (313) 971.2367
2. Mr. Edward McDermott, 320 E. 23 Street, New York,
N.Y. 10010, U.S.A., tél. (212) 982.2252
3. Вадим Бытенский, Mr. Vadim Bytensky, 751 Steeles,
Avenue West, Unit. 53, Toronto, Canada, tél. (416) 225.48.47

В Англии:
Представительство издательства «Посев», «Possev-Verlag»,
18 Down Rd., Beckenham/Kent BR32JY England

В Австралии и Новой Зеландии:
Михаил Ульман, Michael Ulman, P.O. Box 335, Maroubra,
N.S.W., Australia, tél. 349.84.84

В Израиле:
Ирина Гробман, Irina Grobman, 28 Ephraim str. Bak'a
Jerusalem, Israel, tél. (02) 712.493

В Париже журнал продается во всех русских магазинах.
Цена номера – 45 франков.

Joseph FLOCH. Maître-Imprimeur à Mayenne -25-6-1981 n°7564

ЭХО ECHO

PARIS 1980